АНДРЕЙ СЕДЫХ

ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ

АНДРЕЙ СЕДЫХ — ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ

АНДРЕЙ СЕДЫХ

ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Старый Париж. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. С иллюстрациями Б. Гроссера. Распродано.

Монмартр. — Изд. Я. Поволоцкого. Париж, 1927 г. С иллюстрациями Б. Гроссера. Распродано.

Париж ночью. — Изд. «Москва», 1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева. Распродано.

Там, где жили короли. — Изд. Я. Поволоцкого. Париж, 1930 г. Распродано.

Там, где была Россия. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г. Распродано.

Люди за бортом. — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г. Распродано.

Дорога через океан. — Изд. «Новый Журнал», Нью Иорк, 1942 г.

Звездочеты с Босфора. — Изд. «Нового Русского Слова», Нью Иорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина. Обложка Р. Ван-Розена. Распродано.

Сумасшедший шарманщик. — Нью Иорк, 1951 г. Обложка Л. Михельсона.

Только о людях. — Нью Иорк, 1955 г. Издание «Нового Русского Слова».

Далекие, близкие. — Воспоминания. Нью Иорк, 1962. Второе издание.



ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ

Ах, КАК ГРУСТНО жить одинокому! В молодости еще ничего, молодость живет торопливо, без оглядки. Но когда у Константина Алексеевича виски побелели и беспричинно начала побаливать нога, темп жизни страшно замедлился. Появилось много времени, которое он не знал, куда девать, и все дни стали одинаково скучные, монотонные и очень длинные. Пробовал он читать, но скоро оставил: заметил, что глаза лежали на книжной странице, а мысли блуждали где-то далеко, голова думала свое, тоже очень назойливое, будничное и скучное. Не было у него привычки к чтению. Ничего из прочитанного не запоминал и говорил, что писатели нынче пошли очень мудреные. Пишут, а что — непонятно, без начала и конца. И, отложив книгу, больше к ней не возвращался, — все равно толку нет.

Службу он оставил года два назад, вышел на пенсию, — такую скромную, что жить на нее, по правде говоря, не было возможности. Предполагалось, что к пенсии этой Константин Алексеевич будет кое-что прирабатывать, но ничего подходящего не нашлось, а то, что предлагали, было ему не по силам: лезть на

крышу, чинить да красить, — неровен час сорвешься вниз и тогда — конец, больница! С грехом пополам сводил он концы с концами, но было, конечно, трудно. Вот лекарство, например, или новые очки, — это уж не по карману. Нужно бы и зубы поправить, очень некрасиво торчат корешки, но об этом Константин Алексеевич не мог и думать: узнают, мол, и так!

Жил одиноко, в глухом, провинциальном городке, где делать ему было нечего. Случилось это просто. Когда-то работал он на местном заводе, а когда вышел на пенсию, оказалось безразлично, где доживать свой век. Снял комнату с кухонькой, первое, что подвернулось, и прочно засел в своем медвежьем углу. Поблизости не было ни русской церкви, ни друзей, никого. Знали его только квартирные хозяева — поляки, с которыми трудно было сговориться, да владельцы лавок, куда заходил он за своими скромными покупками. Хозяин квартиры был в молодости шахтером в Пеннсилвэнии, болел туберкулезом, часто и сухо покашливал и говорил, ни к кому не обращаясь:

— Мне ест не добже!

С утра Константин Алексеевич устраивался у окна в продавленном кресле и смотрел, что делается на улице. Хозяйки шли на базар. Осторожно и не торопясь проезжали машины. Этот едет в банк, думал Константин Алексеевич, или в гараж... Так и есть, остановился, газолин будет набирать... Незаметно начинал он клевать носом и вдруг видел крутой берег реки в жаркое летнее утро, и ребятишек, прыгающих

как лягушата, животами в воду. Чей-то сердитый голос кричит с берега:

— Мальчики, вылезайте!

И они вылезают, лязгая зубами, с посиневшими губами — вода в реке ледяная... Потом уже другой голос кричит что-то надрываясь. Солдаты бегут по скошенному полю, спотыкаясь о сухие комья земли и падают, и некоторые уже не встают. Смрадный запах поднимается над уродливо свернувшимися на земле человеческими телами.

— Разрешите атаковать, господин полковник? — спрашивает Константин Алексеевич.

Но полковник хмурится, медлит с ответом, а люди зря лежат под огнем и ждут смерти.

Может быть, эта ноющая боль в ноге началась со времени войны и той раны? Нет, рана была пустяковая, навылет, никогда его потом не беспокоила. Верно, просто переработал, натрудил стоя за станком. Станок выбрасывал каждые десять секунд отточенную, блестящую, еще горячую гильзу. Ее надо было подхватить, вытереть, уложить в коробку, а в то время уже выскакивала следующая гильза, и так весь день, с утра до вечера, месяцы, годы...

— Доброе утро! Хороший день, не правда ли? — говорит почтальон, проходящий мимо окна.

— Добрый день, — отвечает проснувшийся Константин Алексеевич, и порядка ради спрашивает, нет ли письма? Сегодня нет, — да и от кого может быть письмо?

Константин Алексеевич от нечего делать решает прибрать комнату. Смахнул тряпицей пыль, переставил вещи на столе. Потом взял в руки старый, давно прочитанный номер русской газеты и почему-то озлобился: в газете была большая статья о символистах, которые его не интересовали, и сплошь неприятные телеграммы: мир явно сошел с ума. Константин Алексеевич, плохо разбиравшийся в политике, чувствовал, что всё складывается как-то неправильно и грозит, в конечном счете, ему лично, большими неприятностями. И даже объявления были неинтересные: русский опытный погребальщик, участки земли, курятники и бар в Нью Джерзи, якобы дающий триста долларов доходу в неделю... Разве вот это интересно: корень Жень-шень, возвращающий здоровье и молодость. Корень стоил дорого, десять долларов. Лечение для омолаживающихся миллионеров. А вот шиповник он бы купил, очень хорошую настойку можно делать из шиповника, но Бог с ней, с настойкой, с корнями и шиповниками... Вдова средних лет, любящая уют, ищет друга жизни. Брак не исключен. Насчет средних лет, конечно, приврала. А уют, это хорошо, кто ж его не любит? Константин Алексеевич посмотрел на свою убогую комнату. Мебель случайная, с толкучки или из Армии Спасения, и вот — стол вечно качается, одна ножка короткая, так что под нее приходится подкладывать картонку. И противные желтые разводы на потолке. Стекла в единственном окне давно не мыты и из-за этого весь внешний мир и даже синее небо кажется грязным. На кухне помятые и жирные кастрю-

ли, да закопченный чайник, — несложное имущество бобыля... Вот бы такой уют предложить интересной вдове средних лет!

Константин Алексеевич даже радостно усмехнулся, так показалась ему забавной мысль привести сюда, в эту комнату, хозяйку, которая станет распоряжаться и наводить свои порядки. Сам он женат никогда не был, не пришлось, не встретил в жизни нужного человека. Все выбирал, да откладывал, а потом оказалось — поздно. И невесты были какие-то неподходящие — одна усатая разводка, очень шумная, с претензиями, жаловалась, что ее никто не понимает. Была и другая, полногрудая, сопрано. Пела в церкви и говорила, что в эмигрантских условиях нельзя сделать артистической карьеры и из-за этого у нее всегда был оскорбленный вид. Константин Алексеевич вспоминал разных женщин, которых встречал на своем пути. Встречи были случайные, недолговечные и большей частью кончались плохо, слезами и нудными разговорами об обманутых надеждах. После каждого очередного разрыва он чувствовал радостное чувство освобождения, некую форму душевного подъема, которая знакома только очень счастливым людям.

Впрочем, в последние годы никакой особенной радости от своей свободы Константин Алексеевич больше не испытывал и одиночеством тяготился. Случались дни, когда не с кем было слова сказать, только сиди и смотри в окно на прохожих. И начали возникать в голове какие-то непривычные и беспокойные мысли, связанные со старостью, с больничной кой-

кой — никто не придет даже проведать... Должно быть и вдова эта тоже побаивается одиночества. Константин Алексеевич весь день томился, не находил себе места и все прогуливался по комнате. Раз остановился он перед зеркалом и внимательно осмотрел в нем морщинистое лицо, заросшее серой щетиной, беззубый рот и мешки под глазами. «Жених!», сказал он, и на этот раз громко засмеялся. «Как писали в старинных романах: сударыня, честь имею просить у Вас руки и сердца. А насчет уюта — не беспокойтесь, — мы к уюту привычные... Осчастливьте меня, сударыня!» И долго еще бормотал он какую-то ерунду, сам себе усмехаясь. Потом взял газету, снова внимательно перечел брачное объявление, достал не совсем свежий листок бумаги, конверт, и начал писать. Он писал длинно, старательно, и даже несколько витиевато. Говорил о том, что принес всё в жертву многострадальной России, которую замело снегом и над которой холодные ветры поют теперь панихиды. Родина его отвергла, пренебрегла кровью, пролитой им на полях сражений, но и будучи в рассеянии сущим, он не растерялся, начал новую трудовую жизнь и, так сказать, перековав меч на орало, проработал у станка, пока не вышел на пенсию. Здесь он решил особенно не распространяться, хвастать было нечем, но написал честно, что на одного хватает, а вдвоем будет трудно. Только очень замучило его одиночество и тоже хочется встретить дружескую душу, чтобы было с кем поговорить и вспомнить доброе старое время... И еще многое написал он в этом письме, но больше лирику,

а о себе слишком не распространялся, всё намеками, — сама, дескать, разберется, что к чему.

К вечеру письмо было закончено. Константин Алексеевич остался им очень доволен. Дважды перечитал: написано с чувством, деликатно, никаких лишних вопросов. Однако, в конце просил сообщить имя и адрес, чтобы можно было познакомиться, потому что писать почтовому ящику 7314 трудно: получается нечто неодушевленное, а личный контакт сразу покажет, подходят ли они друг другу.

На углу был почтовый ящик, но Константин Алексеевич ему почему-то не доверял, — может быть из него и письма не каждый день вынимают? Для верности отправился он на почту — всего несколько кварталов и есть предлог для прогулки. Отправив письмо, Константин Алексеевич даже как-то помолодел, выпрямился, и на обратном пути всё приговаривал:

— Жених! Гвардия не умирает и сдается даме средних лет, любящей домашний уют, с духовными запросами.

С этого дня жизнь его приобрела новый интерес. С утра он присаживался у окна и ждал почтальона, который появлялся поздно, только в одиннадцатом часу, на ходу махал рукой и шел дальше, не останавливаясь. Письма для Константина Алексеевича не было. Дней через пять он решил, что ответа вообще не будет. Вдова получила, вероятно, множество предложений, одно лучше другого. Куда уж старику-пенсионеру с ни-

ми конкурировать! Было некоторое чувство неловкости и горечи. Напрасно, всё-таки, он писал и поставил себя в смешное положение, да еще так старался, душу изливал.

Больше к зеркалу Константин Алексеевич не подходил и бриться совсем перестал. Это был своего рода моральный протест против человеческой нечуткости. И раньше ловил он себя на желании поговорить с самим собой вслух, но боялся, что это станет привычкой и люди начнут принимать его за сумасшедшего. Поэтому, разговоры такие он избегал, но время от времени, прогуливаясь по комнате, вдруг говорил фразу, которую слышал когда-то в театре, в пьесе Островского:

— Жестокие, нынче, сударь, нравы!

Сударь, к которому он обращался, сочувственно кивал головой и тотчас подавал реплику, что-то насчет женской коварности и легкомыслия особ, любящих домашний уют. Преимущества независимой холостяцкой жизни были теперь совершенно очевидны. Они сказывались даже в мелочах, — например, можно вообще не стелить постель или питаться всухомятку, не вызывая при этом никаких разговоров и укоров, и бросать башмаки посреди комнаты, не опасаясь обвинений в неряшливости.

И в тот момент, когда принципы холостяцкой жизни совершенно восторжествовали, почтальон принес письмо с ньюиоркским штемпелем. Константин Алексеевич так заждался этого письма, что по началу,

со злости, даже пренебрежительно бросил его на стол не раскрывая, — дескать, обождет, торопиться некуда. Потом он почему-то засуетился, начал искать очки, обладавшие способностью всегда прятаться в важную минуту. Надел их на кончик носа и снова, осторожно, точно конверт содержал динамит, взял его в руки. Почерк был неказистый, то есть по правде говоря вовсе плохой, какой-то корявый и не совсем разборчивый. И начиналось письмо странным обращением:

— Незабвенный Константин Алексеевич!

Письмо она получила. Очень красиво написано и, видимо, писал человек старого поколения, с хорошими манерами. Что касается возраста, то это ничего — она сама, так сказать, не совсем средних лет, а скорее пожилая, но женщины, как вы знаете, не любят в этом признаваться, особенно в объявлении. Живет она в Нью Иорке, на 156-ой улице, около Бродвея. Имеет свою квартиру, сдает две комнаты серьезным людям, и кое-что еще подрабатывает шитьем. Но, конечно, работа бывает не всегда, а богатством она не интересуется, — был бы человек хороший. И заканчивалось письмо приглашением — приехать в Нью Иорк и познакомиться, лучше всего в воскресенье. Закусим, чем Бог послал, и поговорим по душам — так всё выяснится.

Константин Алексеевич раза три перечел письмо, аккуратно вложил его в конверт и задумался. В Нью Иорк он не ездил уже много лет. Нечего ему там было

делать. Далеко, шумно и никого он не знал, а знакомые, которые когда-то были, все давно исчезли или умерли. Крепко он прирос к своему месту и теперь такая поездка, кроме хлопот и волнений, сулила еще не малые расходы, а с деньгами как раз было особенно худо и до получения пенсионного чека оставалось еще недели две... Всё же, он заглянул в коробку, куда откладывал свои сбережения. Долларов до семнадцати там набралось и этого на поездку должно хватить. Автобусный билет в оба конца стоил больше девяти долларов, — шутка ли сказать! Восемь часов езды, но если выехать пораньше, можно попасть в Нью Иорк часам к трем дня, познакомиться и, не задерживаясь, ночным автобусом вернуться домой.

Письмо было не Бог весть какое грамотное. Женщина, видимо, из простых, но и сам Константин Алексеевич в университетах не учился и окончил только военное училище, да и то в порядке ускоренного производства. Странные, однако, были в письме слова и обращение «незабвенный» его немного смутило — должно быть хотела написать «многоуважаемый», а вышло совсем другое. Но без претензий, за бывшую графиню себя не выдавала... Словом, в тот же день Константин Алексеевич написал, что приедет в воскресенье, если разрешите к чаю, во второй половине дня, рад будет познакомиться и поцеловать ручки... Насчет ручек он несколько усомнился, — вдруг какая-нибудь матренина лапа, или совсем непривычная? Но ручки, всё-таки, оставил. Ручки были, по его мнению, некой классовой принадлежностью и сразу должны

были объяснить, с кем эта самая Елизавета Петровна имеет дело: эмигрант старый, из военных, а не какой-нибудь...

Письмо ушло, унося с собой смутные чувства и даже некое взволнованное томление. Константин Алексеевич любил афоризмы, вычитанные в молодости и чудом застрявшие в порядком уже утомленной памяти. На этот раз он всё говорил, что жребий брошен и даже несколько раз перешагнул через Рубикон... К поездке следовало основательно подготовиться. Был у него довольно приличный синий костюм, немного ставший теперь узким, но если на пуговицу не застегивать, получалось еще вполне приемлимо. У хозяйки выпросил он утюг, костюм попарил и выгладил — даже башмаки начистил до блеска; башмаки, впрочем, были плохие, со сбитыми каблуками, но к сапожнику Константин Алексеевич не пошел: не в ботинках, дескать, суть, — важны душевные качества человека. К парикмахеру он давно не ходил, — лишний и непроизводительный расход. Волосы время от времени подрезывал ножницами, перед зеркалом, и даже умудрялся как-то подбривать себе затылок.

Долго обдумывал он подходящий подарок, но на что-либо путное денег не было. В аптеке, на площади, Константин Алексеевич купил коробку вишень в шоколаде. Вполне галантно, по офицерски, а любительница уюта должна оценить и конфеты... Спал он накануне поездки плохо, всё время просыпался и боялся, что опоздает и в пять утра был уже готов: тщательно побрился, оделся по праздничному и с коробкой кон-

фет отправился на автобусный вокзал, куда приехал за полтора часа. Пришлось долго сидеть на скамейке. Зато место в автобусе получил он самое лучшее, переднее, у окна... Не станем описывать поездку, — была она долгая, утомительная, — сказалась бессонная ночь. На остановках выходил размять ноги, выпить чашку кофе с порцией яблочного пирога и с огорчением убедился, что в автобусе смял свой тщательно разглаженный пиджак. Но так было даже лучше, чтобы не подумала, что специально для нее выряжался: полюбите нас черненькими...

В третьем часу дня Константин Алексеевич уже шел по раскаленному от солнца Бродвею, разыскивая 156-ую улицу. Давно он не был в Нью Иорке и как-то иначе представлял себе этот город. На картинках всё больше небоскребы, а тут, на Бродвее, здания были не слишком высокие, в боковых же улицах и совсем плохие дома, с безобразными пожарными лестницами на фасадах, с облупленными и закопченными сажей стенами. По случаю знойного летнего дня на ступеньках крыльца, у каждого дома, сидели какие-то полураздетые люди в тельниках. Громко, через улицу, переговаривались простоволосые женщины, а на мостовой, не обращая внимания на автомобили, играли в бейсбол дети с очень громкими голосами. В городе, где жил Константин Алексеевич, всего этого не было, — там не принято сидеть на улице, разве только в негритянском квартале, за вокзалом, но кто же туда заглядывал? Было очень жарко, влажно. Константин

Алексеевич на ходу время от времени снимал с головы фетровую шляпу и вытирал лоб платком. Так, немного запыхавшись, дошел он до дома, в котором проживала и ждала его известная особа.

Лестница была темная, крутая. У дверей квартир жильцы выставили бумажные мешки и какие-то картонки с отбросами. Несмотря на поздний час, мусор до сих пор не убрали. Весь вид дома был до крайности запущенный: стены в каких-то грязных пятнах и разводах, краска на дверях облупилась, — нет, уюта здесь не было!.. На каждой площадке Константин Алексеевич останавливался, чтобы перевести дух. Отвык он ходить по лестницам и сердце сильно стучало, — не то от непривычного усилия, не то от волнения. Какая она из себя? думал он. К внешности, конечно, придираться не следует — сам не Бог весть как хорош собой, а характер важен, от характера никуда не уйдешь. Впрочем, на кикиморе жениться тоже не собираюсь. В этом случае, как говорят французы — оревуар и мерси.

Был момент, когда он даже заколебался: не лучше ли повернуть назад, отказаться от свидания, из которого всё равно ничего не выйдет, уехать домой и мирно доживать свой век без забот и хлопот? Подколесин шевельнулся в душе, но тут же стало обидно — затрачены деньги и усилия, — сколько хлопот, такая поездка, и всё — зря! И рука его потянулась к звонку.

Его ждали, должно быть прислушивались, так как

тотчас же за дверью послышались неторопливые шаги.

— Пожалуйте, — сказал тихий, немного надтреснутый голос, пожалуйте, — я сейчас свет зажгу.

В передней было темно, но когда Елизавета Петровна включила свет и в потолке загорелась тусклая лампочка под бумажным абажуром, стало немного светлее. Он, однако, успел мельком взглянуть на свою корреспондентку. Старая, и это даже обрадовало Константина Алексеевича, с мелкими и довольно жидкими седыми кудряшками на лбу, которые только подчеркивали ее возраст. Лицо было подкрашено весьма неумело, пятнами, и от глаз расходилась сеть предательских морщин. В ту же минуту Константин Алексеевич почувствовал на себе ее испытующий взгляд и сразу смутился.

— Вот сюда... Заставлена моя квартира всяким ненужным барахлом, а выбросить — жалко, показывала она дорогу, пробираясь боком между стеной и каким-то сундуком. Заходите прямо в столовую.

В столовой уже был накрыт стол. Стояла какая-то холодная закуска и на тарелке было аккуратно разложено печенье. Елизавета Петровна придавала угощению особое значение. Характер угощения должен доказать наличие некоторого достатка, не слишком, однако, большого, гостеприимство хозяйки и ее кулинарные способности. Мужчины это ценят. Очень хотелось сделать икру из баклажан, которая особенно хорошо у нее выходила, но днем, к чаю, баклажанная

икра как-то не годилась. Нужно угостить попроще, но вместе с тем, чтобы было вкусно. С этой целью накануне спекла она крендель, очень удавшийся, да еще прикупила немного печенья и сделала тарелку бутербродов с сыром и малороссийской колбасой из русской лавочки на Бродвее. Лавочка славилась своими колбасными изделиями.

— Отдыхайте, подкрепляйтесь с дороги, приветливо сказала Елизавета Петровна, а я сейчас чайку налью. Вам крепкого, или послабее?

Пока она хозяйничала на кухне, Константин Алексеевич внимательно оглядел комнату. Обстановка была далеко не уютная: стулья разные, и матерчатый абажур на лампе прогорел. На стенах висели дешевые картинки в рамочках, что-то очень русское, календарное: боярин с окладистой бородой, в дорогом кафтане, а за ним стрелец с секирой в руке, узколицый и иконописный. На другой картинке изображена зима, розвальни на снегу и, конечно, на заднем фоне золотые головки церкви... Эх, Русь родная, живу привольно в ней, мне дорогая, дороже всех, милей! замурлыкал было охваченный умилением Константин Алексеевич. Но наслаждаться долго не пришлось: хозяйка вошла с двумя стаканами чая, присела за стол и начала угощать.

Разговор по началу не клеился. Елизавета Петровна нервничала и много курила. Пальцы у нее были костлявые, желтые от никотина, и она как-то особенно старательно и противно раздавливала в пепельнице

окурки папирос, вымазанные красной губной помадой. Потом, не сводя глаз с его рта, пережевывавшего бутерброд, начала она повесть о себе, — как в двадцатом году оказалась в Польше, где судьба свела ее с очень хорошим человеком, и как были они счастливы. В Америку уехали во время, деньги стали наживать. Но муж что-то жаловался на боль в груди, а потом внезапно умер... Восемь лет она тосковала, боролась, наконец, решилась — дала объявление. Но ответы получились все какие-то странные, бесстыжие. Писали их, должно быть, ненормальные люди или неудачники, — один сообщил, что у него все пальцы отморожены. Письмо Константина Алексеевича оказалось самым серьезным и деликатным, она очень ценит деликатность.

Закончив рассказ Елизавета Петровна слегка даже прослезилась над своей собственной судьбой, а затем вопросительно поглядела на гостя: что скажет о себе? Он начал рассказывать, но как-то сразу сбился. Ничего в жизни Константина Алексеевича замечательного не было: воевал, работал тяжело и вот, на пороге старости, испугался одиночества и захотелось, чтобы была поблизости добрая душа, способная понять его чувства... Упомянул и о пенсии — шестьдесят семь долларов в месяц, особенно не разгуляешься, но если экономно и с расчетом...

— Да, маловато, конечно, вздохнула добрая душа и придавила в пепельнице окурок. А вы не курите? Молодец, и мне бы надо бросить! На двоих, конечно,

не хватит, а заработки мои самые малые. Летом, бывает, и совсем нет работы...

Константин Алексеевич одобрительно кивнул головой. Обоим стало очень грустно и, чтобы нарушить тягостное молчание, Константин Алексеевич задал вопрос, который давно его мучил:

— А сколько, простите за нескромность, вам будет лет, Елизавета Петровна?

Она слегка вздохнула, подумала немного и сказала:

— Годы мои не старые. Ну, как всем, шестьдесят уже минуло...

Почему он усмехнулся? Не очень сильно, так, чуть чуть, но глупая была эта усмешка и она сразу обиделась:

— Насчет моих лет вы не беспокойтесь, потому что я вижу и вам будет под семьдесят, или вроде того. И очень это неделикатно даму сразу о возрасте спрашивать. Не в полиции, можно и без документов! Вы, знаете, тоже не молодой человек и румянца на щеках не вижу.

— Ваш-то румянец я сразу заметил, — парировал Константин Алексеевич. А насчет возраста, так я не объявлял в газетах, что я — средних лет...

Тут Елизавета Петровна потеряла всякое самообладание и показала свой настоящий характер, — очень уж было задето ее женское самолюбие:

— Средних лет? Да какая женщина средних лет пойдет за вас? Слепая, что ли? Вы на себя посмотрите — жених какой отыскался! Два зуба изо рта торчат, а жениться хочет! Вы бы хоть челюсть вставную сделали, что ли, а потом жениться!

— Да и у вас, сударыня, что-то голова трясется. Я это сразу заметил, как вошел. . .

И, правда, от волнения, или просто по привычке, голова невесты мелко тряслась. Вместо ответа, Елизавета Петровна начала деловито убирать со стола печенье, остатки бутербродов и принесенную гостем, еще нераскрытую коробку конфет. И, убирая, вся распаленная, говорила:

— Ну, голубчик, закусили, погуторили, время провели. А теперь — ладно, с Богом! Поезжайте к себе, в холостяцкую свою берлогу. У вас когда автобус?

Константин Алексеевич встал, застегнул свой слишком узкий пиджак и пробормотал, откланиваясь что-то невнятное: очень дескать, жаль, не вышло. Хотел еще добавить что-то поэтическое насчет того, как расходятся в море корабли, но махнул рукой и направился в переднюю. За ним шла невеста, мелко тряся головой, и говорила:

— Кланяйтесь там у себя, в Бригаде Стариков!

Через час Константин Алексеевич уже сидел в автобусе. Мимо мелькал американский пейзаж: газолиновые станции, газоновые лужайки и белые домики. . .

Трудный день кончался. Константин Алексеевич дремал и, успокоенный, даже с некоторым душевным подъемом, думал о том, что замело тебя снегом, Россия, а злые ветры поют над тобой панихиды... И ему казалось, что в судьбе России и в его личной судьбе было нечто общее.

НИКОЛКА

ИСТОРИЯ эта начинается на подобие святочного рассказа, только в конце ее нет, как подобает в таких случаях, мира на земле и в человецех благоволения. А начало было такое: на рассвете холодного, декабрьского дня, в гостиной запела птица. Это звучит неправдоподобно. Рассветы большого города имеют свои собственные, особые звуки, ничего общего с пением птиц не имеющие,—звонкие шаги прохожего, торопящегося на работу, грохот выдвигаемых мусорных ящиков, или первый автобус, еще не проснувшийся от долгой гаражной ночи, с легким скрипом уходящий в туманную даль мокрого авеню. Просыпались вы от равномерного и резкого чирканья железных лопат по тротуарам? Над городом стоит странная, необычная тишина, и только этот звук, доносящийся с разных концов улицы, вдруг наполняет душу радостным сознанием: ночью выпал снег, и его сейчас расчищают... Кстати, и в это утро шел снег, но какой-то ленивый, мокрый, и пение птицы в гостиной показалось совершенно невозможным.

— Птица поет, сказала жена. В гостиной птица...

Значит, я не спал, мы оба слышали это пение.

Нужно было встать, выйти из теплой постели в комнату с открытым окном, — ужас зимних пробуждений в ледяном холоде, в полумраке, с тяжелыми мыслями...

Еще на одно мгновенье я закрыл глаза, прощаясь с блаженством тепла, потом поднялся рывком, натянул халат и вышел в гостиную... И в ту же секунду что-то маленькое, серо-желтое, очень испуганное и жалкое пролетело по комнате, описало полукруг и уселось у меня на плече.

— Ты что здесь делаешь, пичуга?

В ответ она начала жалобно пищать, — вы слышали, как плачут птицы? Ей было холодно, она промокла, была взъерошена и страшно напугана. Вылететь из своей клетки в окно, случайно оставленное открытым, оказаться вдруг на зимней, снежной улице, в огромном, незнакомом и страшном мире, где нет удобных для сиденья жердочек, нет зерен и свежей зелени, а только фасады буро-коричневых домов, мокрые карнизы и крыши, на которых снег смешивается с черной сажей. И самое страшное — это пространство, огромное пространство улицы, невозможность найти то единственное в мире окно, которое было открытым, и за которым остался дом, спокойный, привычный уклад жизни, собственная, такая любимая, навсегда утерянная клетка.

Прежде всего мы закрыли окно, через которое влетела в комнату полумертвая от холода и страха птица и включили отопление. Потом на полу появилось блюдце с водой, а на газетном листе была рас-

сыпана манная крупа. Через несколько минут залетный гость начал устраиваться на новом месте. Нерешительно отведал крупы, запил водой и энергично принялся за туалет, — нужно было снять с себя всю дорожную пыль и сажу. И только теперь я разобрал, что это — канарейка. Голова и грудка ее были покрыты нежно-желтым пухом, как у однодневного цыпленка, а крылышки — серые. Впрочем, впоследствии, и они пожелтели.

— Канарейка? — переспросила жена, явно относившаяся с недоверием к моим орнитологическим познаниям.

— Канарейка, из породы певчих птиц. Известна в науке, как фрингилла канарика...

— Этой твоей фрингилле нужно прежде всего купить клетку. Она тут всю мебель загадит. А потом следует разыскать ее законного владельца.

С этого момента спокойная наша жизнь кончилась. Час спустя, в снежную бурю, я отправился покупать клетку. В птичьем магазине выяснилось, что помимо клетки и металлического постамента к ней, канарейка нуждается еще в специальном приданном, — нужна ванночка, пластиковые коробочки для еды, зеркальце, какие-то игрушки, чтобы птица не скучала, и несколько коробок с разного рода зернами, сухариками, сушеной зеленью. На приобретение всего этого хозяйства ушли деньги, приготовленные на рождественские подарки. На прощанье торговец всучил мне руководство о том, как следует обращаться с канарейками, и бутылку с чудодейственным лекарством, —

птичка во время утренней прогулки могла простудиться и лучше остановить болезнь в самом начале.

Дома царил хаос. Диваны и кресла были на всякий случай покрыты газетными листами, словно в квартире поселилась птица, страдавшая хроническим расстройством желудка. Впрочем, кое-какие признаки нарушения правильного обмена веществ были уже налицо, — птичка успела запачкать письменный стол и теперь устроилась на книжной полке, разглядывая корешки и выбирая подходящего автора. Жена сидела у телефона и сообщала приятельницам сведения о зимней миграции канареек.

— Кстати, как мы ее назовем? — спросила жена. — Без имени нельзя. Если мальчик будет Ромео. Если девочка — назовем Джульеттой. . .

— Святцы. Имя всегда берут в святцах.

— Не хочу. А вдруг выйдет Акакий? Или Онуфрий какой-нибудь!

— Там видно будет.

Случилось всё это 19 декабря и святцы показали: день святителя Николая.

Так и получила наша птица простое и честное имя Николая, а вскоре, когда между нами установилась настоящая дружба, не лишенная оттенка фамильярности, стал он называться Николкой.

Николка быстро освоился на новом месте. В первые дни мы расспрашивали соседей: не пропала ли у кого канарейка? О прибавлении в нашем семействе знали на улице решительно все: и швейцар соседней

гостиницы, и парикмахер-сицилианец, и владелец угловой порториканской «Ботлегии»... Нет, ни у кого канарейка не пропадала. Должно быть, она не из нашего квартала. И появилась, наконец, добрая русская душа, посмотрела на Николку и сказала:

— Это всё к счастью... Прилетела, значит так надо. Счастье, — вольная пташка, где захотело, там и село.

Счастье осело в нашем доме довольно прочно. Месяца через три, ранней весной, мы набрели, во время загородной прогулки, на зеленый домик, окруженный столетними кленами, с верандой и беседкой, заросшей виноградом. И час спустя домик неожиданно стал нашей собственностью, при чем одним из серьезных соображений при приобретении недвижимого имущества было то, что Николке полезно жить на свежем воздухе и слушать пение других птиц.

Дело в том, что Николка наш оказался не Бог весть каким певцом, — пока мы не занялись развитием его музыкальных способностей. Поют канарейки по разному, — полным голосом, россыпью, дудкой, овсянкой и колокольчиком. Так, по крайней мере, утверждает всеведущий Даль. А наш Николка в светлые минуты своей жизни пел трелью, а в случаях неудовольствия и претензии принимался жалобно пищать. Умная была птица и знала, как получить яичный сухарик, размоченный в воде, — писк этот мог разжалобить самого черствого человека.

Спали мы теперь мало и тревожно: Николка бу-

дил нас на рассвете, разливал свои трели, а потом принимался пищать: дескать, пора, снимайте с клетки покрышку, уже утро! И приходилось вставать, снимать покрышку, заправлять ему корм, наливать свежую воду. А засыпал он рано, засовывал голову под крыло и превращался в желтый, пушистый шарик. И если свет в комнате не тушили, после первого сна высовывал голову из под крыла и грозно прикрикивал: свет! Выключайте! В конце концов, ему была отведена особая комната, но и это Николку не устраивало: он любил общество, голоса людские, музыку. Птица была американская, избалованная, и без телевидения или радио не могла прожить и часу. На экран телевидения смотрела внимательным, неподвижным, карим глазом, а если в программе была музыка, — немедленно сама принималась петь. Удивительное это было пение, — в той же тональности, в том же темпе, — Николка оказался прекрасным, дисциплинированным музыкантом, вступал в такт вместе со скрипками, вел счет и умолкал в то самое мгновение, когда кончали играть, — словно подчинялся палочке невидимого дирижера. Постепенно мы начали разбираться в музыкальных вкусах Николки. Любил он классиков. Моцарта, Баха и Бетховена ставил превыше всех, но, грешным делом, обожал и цыганщину, а в последнее время привязался к гармошке. Специально для него ставилась заветная пластинка, — концерт для гармонии и оркестра, и в эти минуты Николка забывал обо всем, закидывал голову и пел, и щелкал, и цокал, как настоящий курский соловей, — были в концерте такие

русские места, исполненные вечерней грусти и тоски, что никакая птичья душа выдержать не могла...

Летом мы втроем переехали на дачу. Здесь выяснилось еще одно обстоятельство, которое мистически настроенные люди не преминут истолковать, как некое знамение. Уже после того, как зеленый домик стал нашей собственностью, из городской управы приехали рабочие и поставили на углу столб с надписью: «Авеню Сэнт Николас». Оказалось, что улица, на которой поселился Николка, испокон веков называлась в честь Св. Николая, — только надписи не удосужились поставить!

Жили мы дружно и счастливо. Вместе с музыкальными способностями развились и гастрономические вкусы Николки. Канарейка, ничего раньше не признававшая, кроме своих зерен и сухарей, вдруг оценила желтые дыни и арбузы с моего баштана, уплетала ломтик за ломтиком, аккуратно прострачивала их клювом. Огородничье мое самолюбие было полностью удовлетворено, — чувство лести было Николке совершенно чуждо, и если он ел, значит — арбузы и дыни удались на славу. Покончив с угощением, он вскакивал на жердочку, быстрыми движениями вытирал клюв и испускал пронзительную трель, — прекрасная, в общем, штука жизнь! Птичий хор отвечал ему из сада... В хорошую погоду клетку выносили наружу и Николка заводил знакомство с вольными птицами. В репертуаре его появились какие-то новые, особые ноты и звуки, — может быть, он подслушал их у прилетавших на лужайку дроздов и скворцов.

Прошла пора линяния. Еще ярче стала грудка Николки, еще пышнее распускал он крылья после сна, вытягиваясь и выбрасывая в сторону одну лапку. А затем произошло событие, поразившее нас, как громом. Два дня Николка не пел, сидел надутый, нахохлившийся и нервничал. При виде пальца, которым хозяин любил его дразнить, вдруг превращался в хищного орла, распускал крылья, раскрывал клюв и вступал в бой.

— Что с тобой, Ники? — беспокоилась жена.

И упрекала меня, птицелова, в том, что у Николки обязательно произойдет нервное расстройство. Кончилось всё это тем, что на утро, в углу клетки, мы нашли крошечное, голубое яичко.

Николка оказался особой женского пола! Почему мы всё время были убеждены, что имеем дело с самцом? Поют у канареек только самцы, а ведь Николка был прекрасным певцом. Теория моя о птицах-гермафродитах никакого успеха не имела. На семейном совете было решено, что Николай отныне получает женское имя Николь. Но французское это имя как-то не укрепилось, и на всю свою короткую жизнь канарейка наша осталась Николкой, и говорили мы о ней, как об особе мужского пола.

Не взирая на это, Николка два раза в год, весной и ранней осенью, хохлился, не ел, не пил, клал голубые яички и, выполнив свой материнский долг, долго купался в ванночке с теплой водой, потом прыгал на жердочку, победоносно оглядывался по сторонам и издавал особенно сложную и красивую трель.

Вероятно, многие читатели не поймут, — как можно писать целый рассказ о канарейке. Бывало и хуже: когда-то я мечтал написать толстую книгу о жизни тропических рыбок в моем аквариуме, — целый мир! — о том, как они рождаются и умирают, как любят и ревнуют, — я знал рыб с наклонностями настоящих убийц, рыб-садистов с инстинктами Джека-Потрошителя и рыб кротких, с ангельским характером и мечтательными глазами. Любителей серьезного чтения всё это не интересует и, может быть, рассказ о Николке следует поскорее закончить.

Существует примета, что шестнадцатого июля, на Афиногена, пташки задумываются. Николка наш стал задумываться несколько позже, когда деревья в саду начали одеваться в багряный цвет и высоко в небе потянулись на юг косяки перелетных птиц. Воздух стал холодный и прозрачный, клетку больше не выносили в сад. И наступил день, когда надо было переезжать в город, на зимнюю квартиру.

Путешествие он перенес отлично, в специальной сумке. Николка вновь оказался в городской квартире, у того самого окна, через которое он когда-то влетел, где началась его жизнь в нашем доме, и у которого ей суждено было кончиться. И всё в городе, после деревни, показалось ему печальным: не было деревьев и цветов, поблекли краски, изменились звуки. Николка тревожно прислушивался к забытым городским шумам, к которым так трудно привыкнуть: к телефонным звонкам, к пронзительному свистку чайника, к доносившимся с улицы автомобильным гуд-

кам. И как-то неожиданно он захирел, нахохлился, вдруг перестал петь, жалобно попискивал, когда в горло ему вливали горькое лекарство, и больше спал, но уже не на жердочке, а на полу своей клетки. И однажды утром я нашел Николку с вытянутыми лапками и закрытыми навсегда глазами, — короткая птичья жизнь его кончилась.

Таково несложное жизнеописание нашего Николки. Похоронили его в саду, под группой молодых березок. Пройдет несколько лет, березки подрастут, будут видны с улицы Святого Николая, и весной, когда зашумит на них свежая серо-зеленая листва, на ветви будут садиться и петь вольные, перелетные птицы.

КОЛЬЦО

Встречаются два человека, чужие друг другу и заранее знающие, что вряд ли когда-нибудь судьба снова их сведет. И внезапно у одного из них появляется непоборимая потребность рассказать незнакомому человеку нечто, хранившееся до сих пор в строжайшей тайне, — тот секрет, который есть у каждого, и который нельзя поведать ни лучшему другу, ни жене, ни отцу... Очень мы любим такие исповеди, — неожиданные, нелепые, ничем не объяснимые, выворачивание души наизнанку в полутемном купэ вагона, перед случайным спутником, который несколько часов спустя сойдет на промежуточной станции и исчезнет на пустынной платформе, унеся в небытие тайну... Почему так легко сходятся люди в пути? Чувство движения, отрыв от прошлого, которое с каждым поворотом колес уходит всё дальше, отдаляется? Или попросту — страшная потребность хоть комунибудь раз в жизни рассказать свой секрет, — та самая потребность, которая заставляет преступника зайти в будку исповедальни и там, в полумраке, шопотом, открыть свою тайну невидимому священнику, скрытому за решетчатой перегородкой?

Человек, который сидел в моем купэ, не был ни преступником, ни даже грешником в худшем смысле этого слова. Он показался мне общительным малым, одним из тех суетливых людей, которые жаждут знакомства, не могут долго молчать и не знают, как убить время. Не успел поезд двинуться, как он заговорил, — сначала что-то о погоде, потом сразу о себе. Он ехал в Бостон, по делам, всего на два дня, а затем дальше. Через несколько минут я уже знал, что жена моложе его на семь лет, сын учится в колледже, приедет на Рождество домой, живут они за городом, прекрасный дом, купленный за наличные деньги, — закладных он не признает, это — петля на шее.

Я молчал, иногда кивал головой и, в конце концов, обескуражив даже этого любителя поговорить, вынул из чемодана книгу и погрузился в чтение.

Он развернул было газету, но вскоре отложил ее в сторону. Разглядев на обложке имя автора, спросил:

— Это у вас Мопассан?

— Как видите...

— А помните вы рассказ Мопассана о бриллиантовом ожерелье? Скромная женщина, жена чиновника, берет у богатой подруги колье, чтобы пойти на бал, и теряет его. Ничего не сказав, муж и жена покупают ей точно такое же бриллиантовое ожерелье, влезают в долги и, отказывая себе во всем, десять лет эти долги выплачивают... Жизнь погублена, прошла в тяжком труде, в лишениях...

— ....и десять лет спустя, встретившись с быв- быв-
шей подругой, несчастная женщина узнает, что потерянное ожерелье было поддельным и стоило гроши, — закончил я.

— Стало быть, вы помните этот рассказ! — нисколько не смущаясь подхватил мой спутник. Я знаю несколько иной вариант — на ту же тему. И, уверяю вас, будь здесь на вашем месте Мопассан, он обязательно захотел бы выслушать мою историю.

Сравнение с писателем было, конечно, очень лестно. К тому же я понял, что читать он мне всё равно не даст. Лучше было подчиниться судьбе и дать ему возможность высказаться.

Я закрыл книгу, устроился поудобнее и приготовился слушать.

*

— Было это уже давно, в середине двадцатых годов. Вы не жили тогда в Нью Иорке? Жаль, прекрасное, веселое было время... Сигара стоила всего пять сентов, входил в моду чарлстон и Джимми Вокер считался законодателем мод. Двадцатые годы имели еще одно громадное преимущество: я был молод и влюблен в Джоэн. Она выступала в Зигфрид Фоллис, туда принимали только очень красивых девушек. Джоэн и была очень красивая, — стройная, зеленоглазая, слегка вздернутый, легкомысленный нос, шапка золотых волос. Когда в полночь, после спектакля, мы заходили поужинать в модный артистиче-

ский ресторан на Бродвее, все мужчины прекращали разговоры и молча провожали ее взглядом.

Встретились мы на каком-то литературном коктэйле. Один из тех приемов, на которые сходятся люди, имеющие весьма отдаленное отношение к литературе. Было тесно, жарко. В стаканах, по случаю сухого режима, была какая-то подозрительная жидкость, в которой грустно плавали куски льда. Люди стояли группами, обмениваясь незначительными фразами, а хозяйка дома, стареющая дама филантропического типа, усиленно знакомила вновь приходящих, которые отходили и тут же забывали друг друга. Медленно передвигаясь по комнате, я подошел к группе, в которой была Джоэн. Нас представили, она мельком взглянула на меня, поздоровалась и тотчас же отвернулась.

Сейчас я уже не могу вспомнить, как это произошло, но через четверть часа мы сидели вдвоем, в углу, рассказывая друг другу какую-то веселую чепуху и придумывая смешные клички для гостей.

А еще через час мы оказались в «спикизи», где был полумрак, и где подавали настоящее, очень неплохое виски. Джоэн быстро опьянела, глаза ее смотрели прямо и немного насмешливо, и она уже не пыталась отнимать руки, которую я целовал. Я был тогда очень молод и нетерпелив. И в тот же вечер она пришла ко мне, покорно и неторопясь разделась, и потом мы долго лежали рядом, курили и молча смотрели в окно, в ночь, которой не было конца.

*

Поезд замедлил ход, подходя к станции, колеса застучали на стрелках. Спутник мой на мгновение прервал нить своего рассказа.

— Вас, вероятно, удивляет, к чему всё это? История весьма банальная, случайный роман, не оставивший в моей жизни никакого следа, и при этом не имеющий отношения к мопассановскому ожерелью... Погодите... Связь эта продолжалась несколько месяцев, до того дня, когда мы почувствовали, что друг другу надоели, что становится скучно и что каждый из нас инстинктивно начинает готовиться к какой-то новой встрече.

Мне лично всегда труднее закончить роман, нежели начать его. Чтобы увлечься женщиной нужен энтузиазм и некоторая доля любопытства. Чтобы расстаться — следует быть циником, эгоистом, а у меня в этих случаях всегда появляется сознание некой вины... Каждый мужчина выработал на этот случай свою собственную технику. Был у меня приятель, который на прощанье неизменно дарил своим бывшим подругам лакированные сумки. Почему именно сумки? Не знаю, возможно, у него просто не было средств, чтобы сделать лучший подарок, а лакированная сумка всегда женщине нужна.

Я, во всяком случае, верю в прощальный подарок и в то, что он помогает расстаться. Любая жертва, только не слезы и не писание писем. Никогда не следует оставлять в руках мстительной женщины обличительного документа, а брошенная женщина всегда

становится мстительной... Так вот, я решил подарить Джоэн на прощанье кольцо. Однажды, во время прогулки, мы остановились на Пятом Авеню, у витрины ювелира, и она долго, словно зачарованная, смотрела на изумруды. Ей, конечно, казалось, что камень этот подходит к цвету ее глаз.

О настоящем изумруде от ювелира с Пятого Авеню нечего было и мечтать. Но поблизости я нашел магазин, торговавший великолепно подделанными драгоценностями. Уверяю вас — только опытный профессионал мог бы отличить эти изумруды от настоящих. И стоили они, в общем, не дешево, но зато работа была безукоризненная. Выбор мой остановился на кольце с крупным, продолговатым изумрудом. Камень был красиво отшлифован, в платиновой оправе. Подарок обошелся в сто семьдесят долларов. В те годы деньги были не малые... Ювелир-старичок завернул футляр с кольцом в шелковую бумагу, получил деньги и выписал счет.

Я, признаться, сначала даже не хотел брать этот счет. Но старичок вежливо и настойчиво сказал, что счет нужен на случай, если особа пожелает, например, застраховать кольцо от кражи... До последнего свидания с Джоэн оставалось часа два. Придя домой я еще раз полюбовался кольцом, — оно, положительно, выглядело, как настоящая драгоценность... Жаль, счет на сто семьдесят долларов мог только испортить впечатление от подарка.

И, шутя, я взял в руки перо и приписал к цифре ювелира один ноль. Получилось великолепно, — коль-

цо теперь должно было стоить в глазах Джоэн 1.700 долларов — подарок миллионера, достойный такой женщины, как она.

За обедом мы объяснились. Приличия ради она пыталась устроить мне сцену, а затем вынула из сумки кружевной платочек и поднесла его к глазам, — очень осторожно, чтобы не потекла «маскара». По существу, она была плохой актрисой, — в Зигфилд Фоллис система Станиславского тогда еще не применялась... В эту минуту на сцену появилось изумрудное кольцо.

Прелестное дитя осушило слезы, грустно улыбнулось и сказало, что никогда, никогда меня не забудет, — я был самой большой, настоящей любовью ее жизни.

Прошло несколько лет, были другие встречи и расставания. Веселый и беззаботный период кончился.

*

Столкнулись мы случайно, в антракте, в фойэ театра. Джоэн мало изменилась и поздоровалась, словно расстались мы только вчера, — очень просто и непринужденно. Она представила меня господину с легкой сединой на висках, который ее сопровождал.

Мы обменялись несколькими фразами, — то, что принято говорить в антракте: пьеса не понравилась и продержится не долго, но играют замечательно. Обидно, что столько таланта и усилий потрачено зря... Раздался звонок, нужно было возвращаться на свои места и, как когда-то, глядя прямо и насмешли-

во улыбаясь, Джоэн сказала низким грудным голосом:

— Позвоните и пригласите меня завтракать. Я попрежнему люблю устрицы и белое вино.

Позвонил я ей через два дня. Она пришла в небольшой французский ресторан, славившийся своей лионской кухней. В ресторане было шумно, весело, слегка пахло духами и жареным луком.

Было это в начале весны. Джоэн пришла на свидание в светлом костюме, который очень шел ей и в легкой меховой накидке. Я смотрел на нее, стараясь найти какую-нибудь перемену, но Джоэн принадлежала к типу женщин, которые до определенного возраста никогда не меняются. Была она попрежнему молода и очень красива, — только глаза стали какие-то особенно сияющие. Кажется, я сказал ей, что у счастливых в любви женщин глаза всегда кажутся светлее, и она, смеясь, ответила:

— Это от встречи с вами, мой дорогой...

И в эту минуту я увидел на ней нечто новое — изумрудную брошь в старинной золотой оправе. Камень был большой, на редкость красивый. Положительно Джоэн не менялась, — сохранилась даже любовь к изумрудам.

Она увидела мой взгляд, поняла, о чем я думаю, и сказала:

— Вам нравится?

— Нравится. Господин с сединой на висках?

— О, нет! Это — ваш подарок... Не удивляйтесь, эту вещь подарили мне вы...

Невольно я перевел глаза на ее руки, — красивые, холеные, но без единого украшения.

— Кольцо ваше я потеряла вскоре после того, как мы расстались. Такая неосторожность — я оставила его на рукомойнике в ресторане. Я всегда снимала кольцо перед тем, как мыть руки. И вот — оно исчезло. К счастью, кольцо было застраховано. Месяц спустя страховое общество заплатило мне 1.700 долларов. И на эти деньги я купила изумрудную брошь. Спасибо, милый! Не правда ли, — прелесть?

Я молча кивнул головой и сразу вспомнил, как сидел в своей комнате в тот день, когда купил кольцо и как, шутки ради, приписал к счету ювелира ничего не значущий нуль...

— Они заплатили 1.700 долларов? — осторожно переспросил я. — Вероятно, перед этим страховое общество обращалось к ювелиру за подтверждением того, что вещь была у него куплена?

— Кажется, — рассеянно ответила Джоэн. — Я уж не помню... Представитель общества мне что-то рассказывал, — они искали этого ювелира на 47-ой улице, чтобы купить у него точно такое кольцо и возместить мне убыток. Но ювелир умер, магазина его больше нет, и они ничего не добились... Мне жаль кольца, я любила его, но ведь и брошь — очень хороша?

Она нежно прикоснулась к изумруду и улыбнулась мне своей лучшей сияющей улыбкой.

ВАРЯ, БАБУШКА И НИКИТА ХРУЩЕВ

РОМАН наш, как полагается, начался со стихов. Однажды из Германии пришло письмо от русской девочки Вари. Из письма я узнал, что ей двенадцать лет, она учится в немецкой школе и пишет стихи. К письму был приложен для напечатания образец поэзии:

НЬЮ ИОРК

Величественный вид люблю твоих домов,
Снега, метели и сирены гудков,
От Севера до Юга люблю тебя, Америка родная,
Андрея Седых и Марк Ефимовича не забывая,
Храню в душе и радость им я изливаю.
Тебе, Америка, я строки посвящаю...
Велик и шумный Нью Иорк!
Его дома неисчислимы,
В одном из них А. Седых с супругой живет
Богом хранимы.

Стихи мне понравились, — при общем оскудении эмигрантской поэзии в строфах Вари Бережко почувствовалось дуновение свежего ветра... Поэтому, чтобы не обескуражить юную поэтессу я написал, что нужно много учиться и работать, а окончательный приговор вынесет потомство. Так как поэты испокон веков нуждались в деньгах и в меценатах, я приложил

к письму в качестве гонорара несколько долларов. Так началась наша долголетняя дружба и переписка, продолжающаяся и по сей день.

Варя оказалась на редкость хорошей девочкой. Благодарила за письма и за подарки и прислала свою фотографию новым американским родственникам, — дело в том, что мы очень скоро получили звание дяди и тети. Племянница оказалась прелестная: слегка курносая, с толстой косой, и глаза смеющиеся... Из дальнейшей переписки выяснилось, что папа болен и больше лежит; мама плачет и часто ходит молиться в церковь. Есть еще восьмилетний братец Павлик, существо насмешливое, непутевое, — играет на скрипке и к особам женского пола относится без всякого пиетета, с нескрываемым презрением.

Поэтический дар уживался у племянницы с умом практическим и аккуратностью немецкой домохозяйки. После каждой получки Варя сообщала, что сделала с деньгами, полученными от богохранимых американских родственников: купили колбасы, мяса, два фунта смальца, картофеля, угля, а оставшиеся три марки отнесли в церковь.

Против такого разумного расходования денег трудно было возражать. Гонорар за стихи я выплачивал регулярно. Жаль, нет места для цитат. Но одно стихотворение, новогоднее послание, я всё же приведу полностью:

С Новым Годом тетя и дядя!
Одежду укладывавшие руки,
Пусть же в Новом Году отлетят
И тяжкие дни, и за бедных муки!

Знаю я, как с утра и до утра
Вы от добрых мыслей изнывая,
На пользу бедных и больных
Много сделали — себя забывая.
Пусть же счастье в Новом Году,
Обильной волной,
Обольет вас обоих
С Марк Ефимович — семьей!

Именно вскоре после этих новогодних стихов случилось событие, в результате которого Хрущев получил приглашение приехать в Америку, а бабушка Орлова была освобождена из туруханского района специального назначения и переведена в полосу умеренного климата.

Читатель, вероятно, пожмет плечами: что за чепуха! Какое отношение имеет Варя Бережко к поездке Никиты Сергеевича в Америку, и при чем здесь какая-то бабушка Орлова?

Сейчас всё это будет разъяснено.

Я бы очень хотел, чтобы мне поверили читатели: в этой истории нет ни одного выдуманного слова. Изменены только собственные имена.

Всё же остальное — сущая правда.

*

Отца и мать Вари немцы схватили на Украине в первый год войны и с сотнями тысяч других угнали на работы в Германию. В том же эшелоне ехали бабушка и дедушка Орловы. Рассказ об их мучениях и переживаниях отвлек бы нас далеко в сторону... Скажем только, что когда война кончилась, вся се-

мья решила не возвращаться в СССР и остаться в Германии.

Жили сначала в беженском лагере, строили планы будущей жизни, мечтали о получении визы в Америку. Оказалось, однако, что в Америку ехать нельзя: помешала болезнь отца. К тому же, семейство увеличилось: родилась Варя, потом Павлик. Тянулись годы мучительной, полуголодной лагерной жизни. Отец уходил в госпиталь, отлеживался там несколько месяцев, возвращался домой, к родителям, к жене, к детям.

Когда лагерь закрыли, пришлось переехать в какое-то полуподвальное помещение. Жили на убогое немецкое пособие, которого едва хватало на хлеб и картофель... Года три назад, по весне, дедушка и бабушка Орловы показали личное письмо от генерала Михайлова. Генерал писал, что Родина простила, они могут возвращаться без страха, — советская власть примет своих раскаявшихся детей и даст им возможность жить и трудиться для счастья родной страны... Дедушка и бабушка решили ехать. Очень они томились в Германии, мечтали попасть в родную деревню, в свою избу, попить водицы из своего колодца...

Отец Вари кашлял, задыхался и говорил:

— Клюнули вы на крючок без наживы. Оставайтесь здесь — хоть в храм Божий можно сходить, помолиться... Вместе страдали, вместе как-нибудь проживем.

Дедушка и бабушка уехали на родину.

Долгое время от них не было никаких вестей. Потом пришла записочка от бабушки. Писала, что через три недели после приезда муж ее сильно простудился и отдал Богу душу. И осталась она одинокая, одна на всем свете, и некому ее утешить и слезу утереть. А на жительство она попала не в родную украинскую деревню, а в туруханский район специального назначения, где восемь месяцев в году снег и морозы, и холодно и худо живется. А муж ее, Николай Спиридоныч, перед смертью много мучился и про детей всё вспоминал, да внучат звал, Варюшу и Павлика...

*

Шли дни, месяцы, годы. В мюнхенском подвале было холодно, сыро, голодно и всё больше кашлял отец, и чаще по ночам плакала мать. В туруханском крае давно всё завалило сугробами. Лагерным заключенным казалось, что никогда не кончится эта бесконечная зима, никогда больше не увидят они деревьев и зеленых лугов, — на тысячи верст вокруг тундра, дичь, глушь, да вой ветра над ледяной пустыней...

Раз в месяц на клочках бумаги бабушка Орлова писала письмо. Жаловалась на несчастную свою судьбу: если бы только ее перевели в теплый район, да хоть раз накормили досыта!.. Простые люди пишут письма не задумываясь, выкладывают всё, что на душе, без намеков и иносказательных фраз. В мюнхенском подвале письма эти читали и перечитывали и каждое слово обсуждали. Отец вздыхал и говорил:

—Вот, Родина вас зовет... За генеральской подписью... И ведь чего им стоит, — старуху в теплый край перевести?

Варя слушала, морщила свой лобик и спрашивала:

— А бабушка хлопотала? Или ты, может, за нее хлопочешь?

— Перед кем, дурочка? — спрашивал отец. — Ты их не знаешь...

— Я похлопочу, — сказала Варя. — Я самому Хрущеву напишу!

— Напиши, напиши, девочка. А пока что, — ложись-ка ты спать!

На этот раз Варя решила перейти от стихов к прозе. И несколько дней спустя она сочинила два письма. Одно было адресовано «Тов. Хрущеву, Кремль, Москва». А другое председателю Туруханского Горсовета.

Варя не сделала для меня копии своих писем. Но содержание их она подробно мне «отписала». Никите Сергеевичу сообщила, что бабушка Орлова жалуется на холод и ревматизм, и что ее обязательно нужно перевести в теплый район. И если тов. Хрущев «проявит чуткость и уважит просьбу неведомой ему девочки», — Варя за него будет молиться Господу Богу и Господь его вознаградит. Кроме того, она сообщит об этом благородном поступке американскому президенту Айзенхауэру и президент Айзенхауэр «разрешит ему, Хрущеву, или его представителю, приехать в Америку».

Примерно такое же письмо Варя послала и председателю Туруханского Горсовета.

После чего она решила спокойно ждать ответа.

*

Ответ пришел. Только не от тов. Хрущева. Может быть, он был слишком занят или не считал для себя удобным вступать в переписку с мюнхенской девочкой.

Но председатель Туруханского Горсовета тов. Челкаев прислал «официальное отношение», копию которого я бережно храню и со временем надеюсь передать в архив Ейльского университета.

Вот текст этого документа:

Товарищ Варя!

Ваше письмо, в котором вы просите о переводе г-ки Орловой П. М. из особого спецрайона в район с умеренным климатом, я получил.

И Ваше письмо, и мое личное соображение по этому поводу, выраженное в письменной форме, я отослал в соответствующую инстанцию.

Будем надеяться на благоприятный исход.

Я хочь не из «влиятельных», но уверен, что с моими выводами соответствующие лица согласятся и напишут в ту инстанцию, от которой зависит судьба г-ки Орловой.

В отношении же обещанной Вами за меня и моих детей молитвы к Богу, о ниспослании нам счастья, здоровья и попасть на работу в Москву, я хотя и

атеист, но скажу Вам, что каждый человек должен сделать то, что обещал. На Ваш вопрос как звать моих детей отвечаю: Вера, десять лет, моя единственная дочь, которая много месяцев больна.

В заключение скажу, что Вы правы, написав, что коммунисты имеют одинаковые сердца, что и беспартийные, что у каждого коммуниста была или есть своя мама, и что отголоски человеческой души коммунисты должны иметь.

С ком. приветом Челкаев
Печать

*

А еще через месяц пришло письмо от бабушки.

Здраствуйте дорогие Иван Николаевич и Лидия Петровна, Варюся и Павлуша, писала Орлова. С Новым Годом вас поздравляю. Желаю вам всех благ жизненных в Новом Году. Сообщаю вам, что я нахожусь в другом месте, на юге Урала, а это для моего здоровья лучше. Чудо-то совершилось. К бараку, где я раньше проживала, не помню какого числа подъехали две халабуди как там их называют запряженные собачками серыми. Из одной вышел большой, т. е. начальник в большом кожухе и повственниках, по этому мы и судим, что он «большой», и здесь чыны определяются по кожухам. Зашел в комнату и позже зашел с нашим «малым» в наш барак. Я была больная и не приподнялась. Большой подал мне руку после того, как малый сказал мне, что вас Орлова перевядут в другой район. Я очень взволновалась, но при-

ехавший успокоил меня и сказал, что у вас есть сильная рука в Москве и вас переводят в район местного значения и поздравил миня подав руку. Все падружки плакали и мне уже не хотелось расставаться. Потом миня одели и дали кажух и повстянки и они миня спасли в дороги. Ехали долга на санках халабуде, потом лошадьми и позже товарным поездом и потом автом наихуже было ехать автом и я теперь работаю на кухне завода, мне теперь хорошо. Хочь выгрелась и каши пшенной наелась досыта, картошки здесь нет и писать можно без ограничений. Минутку миня вызывают в контору кто-то приехал.

П. Орлова

И вот второе письмо бабушки:

Дорогая семья Бережко!

Здраствуйте! Варюшка, вот ты какая! Я сразу попарядку. Божа мой, счего же начать? Получили вы мое первое письмо из... на двух листках старой бумаги? То письмо я отдала кожуху который кричал — в кого письма? Давайте письма! И я отдала письмо и один рубль на марки, пошла тогда на вызов в комнату. На меня все както взглянули и потом повели в кабинет, где сидел незнакомый мущина с серыми глазами в костюме Гулаг. Поздоровался со мной дисциплинарно-вежливо и потом многа умно убедительно говорил. Всего не запомнила и он прав: я изменила Родине, струсила и передалась на сторону врага, выехала в Германию, работала на фашистов — за что получила законные наказания. И вот ради

миня в тундру, в вьюгу, в страшные морозы, посылают ответственных работников-орденоносцев, сначала одного, потом другого. Приговор смягчают, в теплую кухню на работу устраивают, человечество проявляють. Есть о чем подумать. И пожалеть.

И он с серыми замечательными глазами сказал: Я вам не диктую, пишите что хотите, я сам сдам ваше письмо на почту без проверки, только напишите Варе Петровой, что большевики не такие, как их описывают буржуазные барзаписцы. На мой вопрос: «Какая Петрова?». Да та, которая писала Никите Сергеевичу Хрущеву и в Туруханск. Петрова? переспросила я, такой не знаю.

Он посмотрел в папку, вынул конверт, с конверта вынул два листа и один третий, маленький, подал мне — читайте. Я увидела твои стихи. Стихотворение прочитала, расплакалась и сквозь слезы сказала: это внучка моя, Варя Бережко. Понятно, сказал он. Они все переменили фамилии.

Потом про тибя, Варя, говорил, что жаль что ты не в Сов. Союзе, был бы из тибя толк сказал. Он потом похвалил председателя туруханского Горсовета, сказал его, тов. Челкаева, письмо одобрили. Коммунист должен быть и дипломатом, добавил он и я узнала, что ты написала и за миня просила, естественно ты Ангел Божий. И стихи твои очень осмысленные, реальные. Слышу и сейчас твои песни, спетые грудным нежным голоском. Покойный Николай Спиридоныч, муж, говаривал, что из нее выйдет или певица или паэтеса а я яму ответила: и то, и другое.

Всё помню и как хлеб ты мне приносила, свою порцию, но я его брала и потом отдавала маме. Ничего не забыла а теперь твоей помочи до смерти не забуду и как умру то мужу расскажу вот ты какая! Мы на кухне даже про тебя говорили. Благословляю тебя чудная девочка. Спасибо родная. Одежды не высылайте на мой век мне хватит да и купить можно мне немножко платят.

П. М. Орлова

Варя сдержала свое обещание и помолилась о здравии болящей девочки Веры, о переводе тов. Челкаева в Москву на ответственную должность и написала президенту Айзенхауэру о благородном поступке Никиты Сергеевича, прося впустить его в Америку. И именно вскоре после получения этого письма президент Айзенхауэр пригласил Хрущева посетить С. Штаты.

Скептики, конечно, не поверят, что приглашение последовало по личной просьбе Вари Бережко. Я лично придерживаюсь другого мнения и твердо знаю, что самый простой случай играет иногда в истории громадную роль.

ЛЭЙКВУДАЦИЯ ДОМА

Рассказ этот можно начать с китайской поговорки: в жизни каждого человека бывают два счастливых дня — когда он покупает дом, и когда продает его... Впрочем, это может быть вовсе не китайская поговорка, а фраза — придуманная разочарованным домовладельцем. Оба этих счастливых дня я благополучно пережил и теперь хочу рассказать о своих злоключениях в назидание поколениям будущих владельцев недвижимостью.

Случилось всё это ранней весной, в сезон, весьма благоприятный для разного рода легкомысленных поступков. Прогуливаясь с женой по Лэйквуду, в штате Нью Джерси, я увидел домик, окруженный громадными деревьями, на которых уже набухали почки. Как на грех, светило солнце, на лужайке зеленела трава и из земли показывались какие-то желтые цветочки. Дом продавался.

— Зайдем, посмотрим, что это такое, — с невинным видом предложил я.

— Ни за что! — строго ответила жена, олицетворявшая в нашей семейной жизни благоразумное и

положительное начало. Помни: у нас уже был дом. Во Франции. И, ради Бога, пожалей и себя, и меня...

Я охотно жалею жену, не прочь пожалеть и самого себя. Но, должно быть, вид у меня был такой несчастный, что в минуту душевной слабости она вздохнула и капитулировала:

— Хорошо. Зайдем. Посмотрим. За последствия я не отвечаю.

Ровно через тридцать минут, после весьма поверхностного осмотра дома, я оказался его счастливым владельцем. С этого момента в жизни нашей, и без того довольно беспокойной, началась вакханалия. Каждый день приезжали маляры, электротехники, столяры, водопроводчики, мебельщики. Они хвалили покупку, что-то вымеряли, стучали молотками, белили, красили, а затем присылали чудовищные счета, которые я тщательно прятал от жены... Через месяц домик похорошел, помолодел, в саду были посажены фруктовые деревья, кусты роз, клубника, малина, сирень, жасмин, — через два года, когда всё это разрослось, я убедился, что половину посаженного надо вырубить... Дальше началась тургеневская идиллия, месяц в деревне, чаепития в беседке с домашним вареньем, сбор урожая помидор и огурцов. По сравнению с рыночными ценами собственные помидоры и огурцы обходились втридорога, но это, конечно, разговор прозаический и настоящего помещика недостойный. Что может быть лучше и вкусней овощей из своего огорода?

В конце недели приезжали друзья. Это было очень приятно. В деревне без друзей скучно и не перед кем похвастаться. Друзья жарили в саду шашлык по особым рецептам, сохранившимся со времен Чингиз Хана, топтали мои лужайки, мешали работать в саду и всё время просили принести им выпить чего-нибудь холодненького... Они садились за рояль в то самое время, когда мы хотели смотреть на телевидении любимую программу, вставали в пять часов утра, бродили по дому, как привидения и варили себе кофе... Но в общем, это была поэзия. Были лунные ночи, из кустов малины выкатывались зайцы, а на рассвете нас будило пение птиц в саду, — птицы явно не думали о том, что подходит срок платить в банк по закладной.

Поэзия продолжалась года три, а затем с домиком начали происходить странные вещи.

В саду умерла лучшая красная роза. Кроты прошли под ее корнями, и роза зачахла. Испортилась водокачка. Ее долго чинили и, в конце концов, пришлось провести городскую воду. Потом буря сломала две старые яблони. Явились рабочие, чтобы убрать сломанные деревья, взяли с меня за это двадцать пять долларов. Надоели помидоры и огурцы. Их уродилось слишком много и в местном «супермаркете» были обнаружены малосольные огурцы кошерного типа, с которыми я никак не мог конкурировать. По совету многоопытных соседей от огорода я отказался.

Зимой случайно остановилось отопление. Трубы замерзли и радиаторы лопнули. На некоторое время

наш домик превратился в мастерскую водопроводчика. Он что-то развинчивал, грязная вода текла на начищенные паркетные полы, но водопроводчик утешал меня тем, что могло быть и хуже: котел не лопнул и замена труб и радиаторов обойдется всего в шестьсот долларов. Я радовался и благодарил, — действительно, такая удача!.. Зима в этом году выдалась на редкость суровая. Были снежные заносы, бури, потом проливные дожди, — улица перед домом превращалась в венецианскую лагуну. Впервые за пять лет в подвале отсырела одна стена и по воскресеньям я начал ее лихорадочно закрашивать. Однажды, покуда мы были в Нью Иорке, буря вырвала дверь закрытой террасы. Полиция приехала посмотреть, не забрались ли в дом воры?.. Воры упустили удобный случай, но пришлось звать стекольщика. Накренилась от ветра и вдруг как-то состарилась беседка. Сосед-американец посмотрел на покосившиеся столбы и посоветовал их немедленно укрепить, — в следующий ураган всё обязательно рухнет. Сосед был явно пессимистом... Но в эту зиму я начал плохо спать. Мне снились катастрофы, протекающие крыши, затопленные подвалы, лопающиеся водопроводные трубы, ураганы, вырывающие деревья с корнями, — полная гамма всех стихийных бедствий. По пятницам, направляясь в Лэйквуд, мы дрожали:

— Что же там еще произошло? Какой нас ждет сюрприз?

Сюрпризов было много. Но главный произошел в тот день, когда я сказал жене:

— Кажется, ты была права. Пора домик продавать.

Жена деликатно промолчала. Но в глазах ее появились какие-то радостные огоньки. С деланным равнодушием она заметила:

— Жаль, конечно. Делай, как знаешь. В конце концов, каникулы можно проводить не только в Лэйквуде, но и в Париже.

Через неделю в местной газете появилось объявление о продаже дома. Служащий конторы, принимавший у меня объявление, по натуре человек язвительный, посмотрел на мой текст и сказал:

— Продается дом в Лэйквуде... Да, так сказать, лэйквудация дома...

По-моему, им руководило грубое чувство зависти: объявление звучало как поэма, — все удобства, тенистый сад, упомянуты были даже цветы, виноград и клубника.

Затем мы стали ждать покупателей.

*

С наступлением хорошей погоды покупатель пошел густо, косяком, как сельдь в Азовском море в период метания икры.

Американцы звонили по телефону и задавали только три вопроса:

— Сколько спален? Какая цена? И какой адрес?

Земляки оказались более разговорчивыми. Они хотели знать сколько наличными, а сколько в кредит,

что растет в саду, милые ли соседи, как далеко до русской церкви и, поговорив с полчаса, грустно сообщали:

— Собственно, мы хотели бы купить домик совсем дешевый. Тысячи за три, ну — за пять... Так что ваш не подходит.

Или говорили, что всё им очень нравится, но еще рано: муж выходит на пенсию только через два года и тогда они обязательно купят.

Мы благодарили и просили как-нибудь заехать, посмотреть. Очень будет приятно познакомиться.

Американцы осматривали дом деловито, не выражая громко своих чувств. Мужчины больше интересовались подвалом и гаражем, женщины шли прямо на кухню и лицо их принимало обидное выражение. Кухню придется переделать в холливудском стиле. И ванную тоже... Не знаю, мы очень любили нашу кухню и считали ее вполне приличной, а ванна служила нам верой и правдой. Не холливудская, но купаться было удобно и приятно.

Однажды приехала американка, заявившая, что это — именно такой дом, о котором она мечтала всю жизнь. Всё замечательно!

— Конечно, добавила покупательница, нам придется заменить окна. Мы любим громадные окна. Кухню и ванную сделать новую. На террасе надо сорвать пол и заменить его цветными плитами. Потолки, конечно...

Через десять минут от дома остались лишь голые стены и то, в глубине души я сомневался, пощадит

ли их покупательница. В конце концов я робко спросил, для чего ей дом, который она всё равно хочет разрушить? Она удивленно на меня уставилась и ответила:

— Нет, что вы... Тут всё прелестно и нам очень нравится. Но мы только переделаем по своему вкусу.

Дама ушла и больше я ее не видел. Заглянул священник-адвентист и сказал что дом, собственно, его не интересует, — у него есть квартира при церкви. Интересует его спасение моей души. Священник пришел утром, остался на завтрак, потом мы пили четырехчасовой чай. Он всё время говорил... Я не стал адвентистом, адвентист не купил моего дома, но расстались мы друзьями.

Наибольшее оживление и элемент неожиданности вносили в нашу жизнь земляки. Приезжали они большей частью без звонка и без предупреждения, в самое неподходящее время дня, и у каждого был свой подход к покупке недвижимого имущества.

Помню одного, он приехал в проливной дождь в ужасной разбитой машине, крыло которой было подвязано проволокой. Остановился перед домом и, не выходя из машины, начал на него смотреть, как зачарованный.

Прошло десять минут, двадцать. Человек всё сидел за рулем и смотрел. Наконец, нервы мои не выдержали. Я вышел на крыльцо и окликнул его. Это был русский, но почему-то он упорно говорил со мной на плохом английском языке. На предложение войти внутрь он кивнул головой, потом долго и тща-

тельно вытирал ноги и, наконец, с опаской открыл дверь... Ходил из комнаты в комнату, постукивал в стены, открывал шкафы, — всё делалось серьезно и деловито. Добравшись до кухни он вдруг сказал:

— Китчен нот мадерн!

Тут уж я не выдержал и, перейдя с английского на язык родных осин, спросил:

— А зачем вам, собственно, «модерн»? Вы посмотрите на себя, — вы сами «модерн»? Вам на вид лет шестьдесят, а дому только тридцать. Стало быть, он в два раза моложе вас.

Покупатель посмотрел на меня, обиделся и тихонько вышел. Сделка не состоялась.

А другой, вероятно из той же категории, позвонил и справился о цене. И когда я назвал довольно скромную цифру он хладнокровно сказал:

— Ну, держите для себя!

И повесил трубку... Бывало иначе. В Нью Иорке на квартиру к нам явился старичок, справился о цене и сразу вынул задаток.

— Да вы дом видели?

— Нет. По описанию подходит.

— По описанию покупать нельзя.

— Если вам подходил, — значит и нам подойдет.

Задатка я не взял, но мы условились, что он приедет посмотреть в Лэйквуд. Так он, конечно, и не приехал.

Явилась однажды семья: муж, жена и мамаша... Я знал, что семья эта живет в более чем скромной

квартирке, и молодым людям дом, как будто, понравился. Но мамаша была неумолима. Осматривала, сокрушенно качала головой и, под конец, выйдя на улицу, сказала:

— А ведь домик-то оседает.

Признаюсь, я не на шутку испугался, — к этому времени у меня уже выработалась психология затравленного зверя. Построен дом три десятка лет назад, крепко стоит на фундаменте, но вдруг мамаша что-то заметила, ускользнувшее от моего внимания.

— Где оседает? — спросил я с легкой дрожью в голосе.

— Да уж оседает, — уклончиво ответила мамаша. — Меня не обманете.

После этого случая я начал страшно бояться новых покупателей. Опытный психиатр без труда обнаружил бы у меня наличие «инфериорити комплекс». Мне начало казаться, что живем мы в каком-то убогом сарае, который постепенно оседает и который рано или поздно поглотят зыбучие пески. И, может быть, ванная, кухня, гараж и гостиная никуда не годятся, следует немедленно переменить окна и двери, поставить новую систему отопления, заменить обои на стенах, абажуры на лампах и пристроить второй этаж под спальни для моих несуществующих детей?.. Вечером пришел подвыпивший человек, стал в дверях и спросил:

— Господин Седых, вы меня узнаете?

— Нет, — ответил я после минутного раздумья. — Не узнаю.

— Правильно, — подтвердил посетитель. — Мы никогда с вами и не встречались.

И, с места в карьер:

— Что с домом даете?

— Позвольте, вы ведь даже дома не видели и цены не знаете, а уже спрашиваете, что я даю в придачу!

— Цена обыкновенная, — сказал покупатель. Низкая. И плачу я наличными. Помещение подходящее. А вы лучше скажите, что даете в придачу...

Я предложил аппарат для охлаждения воздуха, какие-то садовые инструменты и старые кастрюли. Всё ему было мало. Он требовал хрустальную люстру, драпри на окнах, машину для стрижки травы и еще утверждал, что я страшно «зажимаю»... После этого посетителя я весь день ходил с холодным компрессом на голове, глотал аспирин и всё прикидывал в уме:

— Может следовало предложить ему еще стиральную машину и полное собрание моих сочинений?

Приходили встревоженные соседи. Мари Кола спрашивала:

— Ну, что, продали? Нет? Ну, слава Богу! Значит еще поживете с нами вместе.

Соседи замечательные, — и Мари Кола, и Наташа, и Машенька, и Александр Александрович (скороговоркой Сансанч), и рыболов Юрий, но в вопросе о продаже дома они проявляли совершенно бесстыжий эгоизм и открыто радовались нашим неудачам. В виде репрессий мы стали подавать к чаю какое-то

старое, захудалое печенье, но и это на них не действовало, — они крепко верили в лучшее будущее и в то, что продажа не состоится.

Этот период нашей жизни, еще совсем недавний, теперь представляется мне в каком-то тумане, из которого время от времени выплывают лица покупателей, строго вопрошающие:

— А термитов в доме нету? Крыша протекает? А как с мышами у вас обстоит дело? Есть, небось, мышки?

В один из таких дней я лежал в шезлонге в состоянии полной прострации, когда к дому подъехали два земляка и спросили, можно ли посмотреть? Я пригласил их внутрь и поплелся вслед за покупателями с покорным видом быка, которого ведут на убой. Собственно, в этот момент я уже был глубоко убежден, что дом никогда продан не будет и что до скончания веков и гласа трубного я буду показывать его посетителям и выслушивать их критические замечания... Но эти посетители почему-то никаких замечаний не делали, ничего не критиковали, спросили о цене и ушли, пообещав дать мне знать. Я проводил их безразличным взглядом и снова впал в полубессознательное состояние.

Через неделю они вернулись. Быстро, точно так, как сделал это когда-то я, они прошли по комнатам, перекинулись несколькими словами и один из них, протянув мне руку, сказал:

— Ну, давайте по рукам. Продали!

Так просто, без высокой финальной ноты, кончилась моя фермерская карьера в Америке.

К слову сказать, новый владелец доволен и окнами, и кухней, и ванной. Я уверен, что он будет очень счастлив в этом доме. Может быть, я еще как-нибудь съезжу в Лэйквуд на старое пепелище. И, если домовладелец мне разрешит, я поработаю на огороде. Ибо что может быть лучше и вкусней овощей из своего огорода?

ПУРИМ

Смотри, не разбей блюдо. И пожелай дяде Адольфу счастливого Пурима.

Яша еще совсем маленький, — ему на долгие годы, недавно исполнилось семь лет, а блюдо с пуримскими сластями такое большое и тяжелое... Завернуто оно в белоснежную, подкрахмаленную салфетку, завязанную сверху узлом, но мальчику строго настрого приказано за узел не держать, а нести блюдо, прижав двумя руками к груди. Это не так просто, в особенности, приняв во внимание, что от блюда соблазнительно пахнет еще теплым яблочным штруделем с изюмом, который мать только что вынула из духовки.

С утра Яша уже перехватил несколько гоменташей и маковок в меду, но штрудель ему так и не дали попробовать, — его пекли не для детей, а для дяди Адольфа и для почетных гостей, которые придут вечером к чаю.

Яша не прочь проверить содержимое блюда, — уж очень придирчив дядя Адольф. Сделать это на ходу не так просто, — руки заняты, но орудуя одним

только носом, который всё равно надо вытереть, он осторожно раздвигает края салфетки и заглядывает внутрь. На блюде с цветными разводами пышно раскинулся подрумяненный, пухлый штрудель с воздушной, слоеной корочкой и жирной, сладкой начинкой. Рядом с ним, как солдаты-пехотинцы расположились в ряд черные ма́ковки, за ними — тесточки в меду и, наконец, большой кусок орехового пряника. Такого пряника, по словам мамы, нет ни у кого в городе. Но самое главное, это — гоменташи, предмет особой заботы и волнения. В прошлом году, на Пурим, когда Яша принес шалахмонес,* дядя Адольф начал его дразнить:

— Почему пирожки кривые?

Тщетно Яша уверял и божился, что пуримские пирожки должны быть именно такой, треугольной формы. Дядька твердил свое, довел мальчика до слез и, хотя подарил на прощанье четвертак, мальчик ушел домой оскорбленный в своих лучших чувствах: назвать мамины пирожки кривыми!

Странный это народ — взрослые, на ходу думает Яша, стараясь не споткнуться и не уронить, не дай Бог, блюдо. Целый год дразнить несуществующими кривыми пирожками... На этот раз он уж не сможет придраться, — я выбрал самые красивые, самой лучшей формы. И кроме того, у меня есть бумага...

Что это за бумага, дядя Адольф узнал только после того, как Яша вошел в дом, поздравил с празд-

---

* Шалахмонес — сласти, которые посылают в подарок на праздник Пурим.

ником и с достоинством поставил свой подарок на стол, — стесняться нечего, как говорит мама, дай Бог всем получать такой шалахмонес! Затем он вынул из кармана бумагу — первое стихотворение, написанное им в жизни:

Шалахмонес приношу
И об одном я вас прошу:
Чтоб о кривых пирожках
Разговору не было в речах!

— Как вам это нравится? — сказал дядя Адольф, — обращаясь к домашним. Этот сморкач уже пишет стихи... Нам не хватало только иметь в семье своего собственного Пушкина!

Всё же, дядя явно остался доволен и на этот раз подарил племяннику новенький, блестящий полтинник. И о кривых пирожках больше не упоминал.

Яша потом писал стихи еще несколько лет. Но Пушкина из него почему-то не вышло.

*

Весна. В воздухе пахнет талым снегом. Каплет с крыш, оттаявшие под солнцем ледяные сосульки со звоном падают на тротуары и рассыпаются сверкающей бриллиантовой пылью. Закутанные в шали торговки на главной улице городка предлагают прохожим букетики подснежников.

Под ногами чавкающая липкая грязь, из которой трудно вытянуть галоши.

Пять мальчиков с вымазанными сажей и краской лицами, в картонных коронах, и в каких-то тряпках,

которые должны изображать тоги древних персов, торопятся из дома в дом. Встречают их радостно:

— Пуримские актеры пришли! Пурим шпилеры!

Актеры разыгрывают сценку, заканчивающуюся полным торжеством Мордухая и царицы Эсфири над коварным Аманом. Царицу играет Зяма-Кошкодав, подложивший себе под рубаху для полноты иллюзии две подушечки-думки и надевший парик бабушки. Как такая полногрудая Эсфирь могла покорить сердце строптивого царя Артаксеркса, — один Бог ведает... Во всяком случае, пьеска кончается счастливо, актеры пускают в ход свои трещетки и, поклонившись зрителям, поют под занавес:

Как Аман жалок
И велик Мордухай!
Дайте нам подарок
И мы скажем Вам: хай!*

К вечеру у объевшихся сластями актеров начинают болеть животы и праздник кончается большой порцией касторки. В те счастливые времена касторка в капсулях еще не была изобретена, — глотали ее прямо со столовой ложки, затыкая носы и почему-то запивали черным, горьким кофе без сахару.

*

Старый реб Меер мечтательно поглаживает свою огненно-рыжую бороду и говорит:

— Ты уже большой, Яша. Твой папаша, дай ему

* «Хай» — по древне-еврейски — жизнь.

Бог дожить до ста двадцати лет, отдал тебя в казенную гимназию. Как будто в хедере тебе было бы плохо... Я не возражаю, — если еврейский мальчик имеет хорошего меламеда и может молиться, — пусть себе ходит даже в гимназию!

— Ребе, завтра я не иду в гимназию.

— Я думаю! Завтра Пурим. И по этому случаю почитай ты мне из книги Эсфири. Ну, начни здесь.

Желтым ногтем он подчеркивает в Пятикнижий место, с которого надо начать читать. Яша опирается на одну руку, словно голова его внезапно отяжелела от бездны премудрости, слегка начинает раскачиваться слева направо и справа налево и, нараспев, читает:

— Вайи (это было)... бимей (во времена)... Ахашвейроша (Артаксеркса)... амелех (который царствовал)...

— Горе человеку, который сам возлагает на себя корону, учит нас Тора! — восклицает реб Меер... — Читай, Яшенька, читай!

— В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, когда пришло время исполниться повелению царя и указу его, когда надеялись неприятели Иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот и сами Иудеи взяли власть над врагами своими...

Реб Меер сладко дремлет, покачивая головой в такт знакомым словам, — ах, какая книга, какая книга! Чтец тоже начал клевать носом и тихонько думает о своем: сколько денег он получит на этот раз от дяди Адольфа? Если бы дяде пришла в голову безум-

ная мысль дать за шалахмонес целый рубль, Яша купил бы для своей голубятни пару сизых турманов...

— Ну? — кричит на мгновенье проснувшийся ребе. — Ну?

— ...Потому и назвали эти дни Пурим, от имени пур, жребий... Поэтому, постановили Иудеи и приняли на себя и на детей своих праздновать эти ДВА дня каждый год...

Яша останавливается и спрашивает:

— Ребе, тут написано два дня?

— Два, — отвечает реб Меер.

— Почему еврейских мальчиков отпускают из гимназии только на один день, когда тут ясно написано: два дня?

— Что твое начальство в казенной гимназии понимает в еврейских праздниках? — презрительно спрашивает меламед. Первый день — Пурим. Второй день — Шишим Пурим. Четырнадцатый и пятнадцатый день месяца Адар.

После урока Яша собирает четырех евреев-товарищей из своего класса. Они долго шепчутся, разрабатывая военную стратегию. Сомнений быть не может: в книге царицы Эсфири черным по белому сказано: Пурим надо праздновать два дня.

Вот почему, в пятнадцатый день месяца Адара, во время утренней переклички в Казенной Мужской Гимназии, классный наставник отметил в кондуите незаконное отсутствие пятерых учеников иудейского вероисповедания.

*

Отшумел Пурим, разнесены шалахмонесы, умолкли трещетки и мальчики подсчитали заработанные деньги.

На следующий день после праздника занятия в гимназии начались, как обычно. Первый урок был латинский. Не успел преподаватель открыть «Записки о галльской войне», как дверь распахнулась и на пороге появился инспектор гимназии по прозвищу Головотяп. Сорок парт грохнули одновременно. Сорок мальчиков вскочили с мест и замерли в почтительной позе. Инспектор быстро прошел к кафедре. Фалды его синего вицмундира воинственно развевались.

Осмотрев класс внимательным взором он вызвал пятерых преступников.

— Почему вы вчера не явились на занятия?

Преступники молчали и тихо сопели. Головотяп подошел к Яше и спросил в упор:

— Ты, например. Почему ты вчера не был на уроках?

— По случаю Шишим Пурима, — пробормотал Яша.

Инспектор извлек из кармана книжицу в черном коленкоровом переплете, открыл ее на заранее заложенной странице и прочитал:

— Учащиеся иудейского вероисповедания освобождаются от занятий в следующие праздники: Новый Год, именуемый Рош Гашона. Один день. Судный День, именуемый Иом Кипур... Один день. Нет, это

не то... Вот: Пурим, один день! Почему вы пропустили два дня?

— Первый день — Пурим, — залепетал Яша. — Второй день — Шишим Пурим.

Инспектор сунул под нос несчастному потомку Мордухая книжечку в черном переплете:

— Сие есть официальный справочник праздников для инородцев, одобренный и утвержденный Ведомством Министерства Народного Просвещения по Одесскому Округу... И здесь сказано: Пурим, один день.

Головотяп выдержал паузу и, наслаждаясь эффектом, вынес резолюцию:

— Завтра же принесите удостоверение от вашего казенного раввина Персица, или всем — тройка по поведению.

— Господин инспектор, при чем же тут удостоверение от казенного раввина? — взмолился Яша. — Я могу вам представить лучшее доказательство: Ветхий Завет. В книге Эсфири точно сказано, что евреи должны праздновать Пурим два дня, четырнадцатого и пятнадцатого Адара...

— Ты Ветхий Завет в эту историю не вмешивай, богохульник. А то совсем выгоним из гимназии, — пригрозил инспектор. — Удостоверение от казенного раввина. Или тройка в кондуите!

*

— С праздником вас, ребе!

— С праздником, Яша! Ну, как идут твои занятия? Реб Меер говорит, что ты уже скоро перейдешь

от Мишны к изучению Талмуда. Ой, Яша, Яша! Одной книги Талмуда хватит на целую человеческую жизнь... Рабби Элиазар говорит...

— Ребе, сейчас речь идет не о рабби Элиазаре, а об инспекторе Головотяпе. Он собирается выгнать пятерых учеников евреев из гимназии. Нас, принятых на одних пятерках, по процентной норме! Меня, Семку Штейнгольца, Марку Брахтмана, который живет около Пассажа, сына резника Беню и Абрашу Голодца, вы знаете сына вдовы Голодца.

Во всем этом была некоторая доля преувеличения. Я не вполне был убежден, что кровожадный инспектор действительно собирается исключить нас из гимназии. Но чтобы добиться от Григория Яковлевича Персица удостоверения, нужно было несколько сгустить краски.

Раввин снял очки, внимательно взглянул на тщедушного гимназиста и спросил таким тоном, словно он возглавлял Синедрион:

— В чем провинились перед господином инспектором казенной гимназии пятеро еврейских детей?

Несколько минут спустя реб Персиц уже знал все подробности теологического спора между хорошими еврейскими детками и кровожадным инспектором. Чтобы снискать расположение ученого мужа, Яша по памяти процитировал ему то место из десятой главы книги Эсфири, где объясняется, почему Иудеи и потомки их празднуют не только четырнадцатый, но и пятнадцатый день Адара.

Ребе погладил мальчика по голове и сказал:

— В писании сказано: всякого нуждающегося в помощи или совете прими ласково... Что это значит? Это значит: если нужно письмо, письмо будет.

Он раскрыл табакерку, взял щепотку зеленого табаку, громко чихнул и, облегчив таким образом свое бренное тело, надел очки и вооружился пером. Сочинял он долго, старательно, несколько раз перечитывал написанное и, наконец, приложив к письму большую, круглую печать, передал документ пуримскому комедианту.

Полвека спустя, ставший к этому времени солидным мужчиной, Яша мог закрыв глаза, без единой ошибки, прочесть наизусть письмо казенного раввина, которое было в тот же день вручено Головотяпу.

Вот что гласило послание прославленного реб Персица:

«Господин Инспектор!

А что касается того, что Шишим-Пурим действительно празднуется в некоторых городах, то с совершенным почтением,

Казенный Раввин
Григорий Яковлевич Персиц».

*

Когда кончилась четверть года, Яша принес домой отметки. В графе поведения и прилежания стояла пятерка... Да будет благословенна память мудрейшего талмудиста реб Персица, Григория Яковлевича, и да продлит Господь его потомству жизнь на долгие годы!

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

НЕ ЗНАЮ — говорят, существуют счастливцы, выигрывающие в ирландский свипстейк. Я таких никогда не встречал. Может быть и встречал, но они об этом ничего не сказали: а вдруг попросит еще взаймы? Сидят эти люди в одиночестве, как скупые рыцари, пересчитывают по вечерам свои деньги. Очень приятное занятие и время летит незаметно.

Особенно много денег для пересчитывания у меня никогда не было. А вот в лотерее я один раз выиграл, да не просто какую-нибудь там мелочь, а первый приз. Я, конечно, предпочел бы получить выигрыш наличными. Но случилось так, что первый приз оказался дойной коровой.

Эту дойную корову я и выиграл.

Человек, не отмеченный Колесом Фортуны, никогда ничего не выигравший, живет припеваючи и беззаботно. Придумывает, как бы заработать или где призанять денег. Другое дело — баловень судьбы и счастливец, выигравший миллион. Жизнь его сразу превращается в ад. Все завидуют, отпускают по его адресу колкости и все ломают головы, каким бы спо-

собом отнять у зазнавшегося нувориша его состояние.

Человек, выигравший дойную корову, ничем от миллионера не отличается. Он сразу становится предметом всеобщей зависти и недоброжелательства. И если ему всего двенадцать лет, если он состоит учеником второго класса классической гимназии, дорожит честью своего мундира и учебного заведения, — насмешки друзей переносятся не легко.

Вся беда началась с момента, когда за кровный медный пятак я купил на благотворительном базаре в Клубе Приказчиков лотерейный билет.

Дама, продававшая билеты, скрученные трубочкой, ловко слизнула мой пятак и, приторно улыбаясь, спросила:

— Мальчик, а что ты хочешь выиграть?

Я хотел бы выиграть что-нибудь очень полезное и хорошее, — коробку оловянных солдатиков, бумажного змея с большим хвостом и трещеткой, или футбольный мяч. Но, конечно, таких ценных вещей в лотерее не было. Поэтому пришлось ответить уклончиво:

— Спасибо. Мне всё равно.

Билетик был зажат в моем кулаке. Назойливая дама-патронесса, кокетливо обвевавшаяся бумажным веером, продолжала приставать:

— Что же ты выиграл? Посмотри.

Собственно, это ее совершенно не касалось и было вторжением в мои личные дела. Но я уже в эти годы понял, что спорить с женщинами бесполезно,

покорно снял металлическое колечко и развернул бумажку.

На билетике стоял номер 1.

Дама всплеснула руками, схватилась за списки выигрышей и закричала:

— Номер один! Мальчик из гимназии выиграл корову!

Я не сразу понял подлинные размеры свалившегося на меня несчастья. Дама с веером ринулась меня целовать, а другие уставились, словно ждали, что на их глазах я превращусь в дойную корову, дающую пять кварт молока в день. Затем меня поволокли к выходу, на двор, где у забора стояла злополучная, довольно невзрачная на вид Буренка. Старшина Клуба Приказчиков поздравил меня с выигрышем, сунул в руку веревку и сказал:

— С Богом, молодой человек! Ведите ваш выигрыш домой... Как говорится — корова на дворе, харч на столе. Воображаю, как мамаша обрадуется. Корова за пятак!

Я шел по улице, сгорая от стыда, а за мной, на веревке, покорно плелась корова. Быстро образовалось шествие, — товарищи по гимназии, портовые мальчишки и какие-то подгулявшие мастеровые, хлопавшие Буренку по заду, словно это был чистокровный арабский скакун. Мальчишки забегали вперед и кричали:

— Андрюшка, дай на копейку молока! Корова с кошку, надой в ложку!

Сначала я молчал, но затем не выдержал и начал отругиваться фразой, которую обычно говорили у нас на Юге фабричные девушки пристававшим кавалерам:

— Ах, оставьте ваши шутки, лучше кушайте компот!

На этот раз сакраментальная фраза не подействовала, а только подлила масла в огонь. Городской юродивый Юрка, успевший примкнуть к триумфальному шествию, неожиданно выскочил вперед и, замотав головой в разные стороны, дико заревел:

— Мууу... Мууу... Мууу!

Мальчишки, следовавшие за коровой, подхватили мычание. Казалось, по Итальянской улице движется теперь целое стадо, возвращающееся с водопоя... А виновница всего несчастья покорно трусила за мной, опустив голову, и кроткие ее коровьи глаза смотрели по сторонам с некоторой тревогой и укоризной. Будущее представлялось нам обоим в самом мрачном свете.

Шествие, наконец, остановилось около магазина золотых и серебряных вещей, принадлежавшего моим родителям. Это был самый большой магазин в городе, — на стенах тикали бесчисленные ходики с гирьками, отзванивали четверти вестминстерские карийоны, — все часы показывали разное время и звон стоял непрерывный. На полках темнело серебро и мельхиор, покрывались пылью большие терракотовые фигуры и вазы; в витринах под стеклами лежали коробочки с часами Борель и Омега, кольца, брелоки, портсигары с лихими тройками, кавказские серебряные

пояса с кинжалами, украшенными чернью... Я привязал корову на тротуаре к тополю и собирался уже войти в магазин, когда на пороге показалась моя мать. В семье у нас, слава Богу, актеров никогда не было. Но в этот момент мать представилась мне воплощением Сарры Бернар в греческой трагедии. На лице ее удивление сменилось растерянностью, потом гневом.

— Что это? — осторожно спросила мать, словно перед ней была не молочная корова, а бык с кровавой севильской арены, готовый забодать на смерть ее любимого сына.

— Корова, — кротко ответил я. — Из Клуба Приказчиков. За пять копеек.

Не знаю, поняла ли в этот момент мать, какое счастье выпало на долю нашей семьи, отныне и навеки веков обеспеченной собственным парным молоком? Но, как на беду, в этот момент Буренка расставила задние ноги и залила асфальт, перед лучшим магазином в городе, фонтаном зловонной жидкости. Любопытные шарахнулись во все стороны.

Мать слегка застонала. Она знала, что сын ее кончит плохо. Мальчик давно отбился от рук, завел на чердаке голубей, приносил откуда-то в дом живых лягушек и змей, а теперь — корова. Может быть, завтра он захочет поселить на чердаке слона Ямбо, — того самого, который недавно взбесился в Одессе.

— Уведи, — твердо сказала мать, сделав трагический жест. — Уведи эту корову, отдай ее железнодорожному будочнику, у которого есть уже свиньи, отдай ее на бойню, выпусти ее на волю. Но помни

— коровы в моем доме не будет! И не забудь затереть лужу на тротуаре!

И мальчишки, наслаждавшиеся этой семейной сценой ответили, как древне-греческий хор, особенно протяжным «Мууу!».

Приговор был вынесен. Очевидно несчастной Буренке было отказано в убежище в родительском магазине золотых и серебряных вещей. Делать было нечего, приходилось подчиниться. Процессия двинулась дальше. Прохожие останавливались и спрашивали:

— Что случилось? Корову украли?

— Да нет, какое украли! Корова бешеная. Ведут в Карантин, на прививку к доктору Констанцову.

— То-то у нее вид такой скучный... Недавно на Карантинной слободке лошадь от сапа издохла. Ее за городом зарыли в яму и засыпали известью. А ночью цыгане пришли, разрыли, да кожу и содрали. Чуваки будут делать.

Подошел городовой и сразу врезался в толпу:

— В чем дело? Куда прешь?

Городовому объяснили, что гимназист выиграл корову. В полицейской инструкции насчет выигрыша коровы ничего не было сказано, но городовой на всякий случай потребовал, чтобы толпа разошлась, и чтобы я прекратил уличную демонстрацию.

— Это не демонстрация, — сказал я. — Мы ведем корову на базар, к мяснику Нафтули.

— Андрюшка — барышник, запел кто-то в толпе. Андрюшка — коровник! Стакан за копейку, кварта — пятак!

Мясник Нафтули торговал в Пассаже, в темной лавке, стены и пол которой вечно пахли кровью, сырыми опилками и карболкой. На крюках висели мясные туши. Когда я появился в Пассаже, Нафтули рубил топором мясо. И каждый раз, когда его топор со всего размаха падал на деревянное подобие плахи, мне казалось, что Нафтули — палач, и что он рубит голову преступнику.

Корову в Пассаж не пустили. Я оставил ее снаружи под надежной охраной, а сам подошел к прилавку.

— Нафтули, — сказал я печальным голосом, — я пришел продать вам корову.

Я всегда немного побаивался этого громадного, чернобородого человека в окровавленном переднике, у пояса которого болтались большие ножи. Мясник искоса взглянул на меня, в последний раз с гаком опустил на плаху топор и швырнул отрубленную телячью ногу на медную чашу весов.

— Откуда корова? — спросил он. — Краденая? Дохлая?

— Из Клуба Приказчиков. С лотереи-аллегри. Я выиграл.

И Нафтули начал хохотать. Я никогда до этих пор не видел, как смеются мясники. Это было нечто страшное. Всё громадное тело Нафтули сотрясалось от смеха, а через минуту хохотал весь Пассаж. Евреи

мясники чесали руками бороды и, сквозь душивший их смех, говорили:

— Ой, корова из Клуба Приказчиков! Можете себе представить, что это такое!

И они снова принимались хохотать, словно я рассказал им какую-то необыкновенно смешную историю. Наконец, вытерев рукавом выступившие на глазах слезы, Нафтули согласился выйти на улицу, посмотреть «товар».

— Ну, гуртовщик, веди!

Мы вышли на улицу. Корова стояла у края дороги и тихонько пощипывала пыльную траву.

— Вот корова, — сказал я бодрым тоном барышника. — Тысяча фунтов свежего мяса.

— Корова? — переспросил Нафтули, и снова начал давиться от смеха. Где ты видишь корову? Это? Мертворожденная телка. Выкидыш. Хорош бы я был, если бы стал торговать таким товаром! Подари ее на живодерню!

И Нафтули отвернулся, готовясь вернуться в Пассаж.

— Мосье Нафтули, взмолился я. Возьмите у меня корову. Купите ее за пять рублей. Корова стоит двадцать пять!

— Мальчик, — сказал Нафтули, — если бы я не знал твою маму, которая всегда покупает у меня самое лучшее мясо, я бы сказал при всем народе, что я о тебе думаю. Мальчик из хорошей семьи, отец бьется, чтобы дать ему образование и вывести в люди,

а сын уже позволяет себе такие штучки! Пять рублей! Евреи, — обратился он к мясникам, — видели вы подобное нахальство?

Мясники чесали бороды, посмеивались и молчали. Они знали, что великий знаток человеческой души Нафтули не упустит такого золотого случая.

— Мосье Нафтули, может быть эта корова и не весит тысячу фунтов. Но она — смирная, хорошая корова. И она стоит гораздо больше, чем пять рублей. Я готов ее отдать за четыре рубля. И даже за три.

Нафтули почувствовал, что дальше играть нельзя. К тому же, дело могли испортить цыгане, сновавшие на базаре. Он принял задумчивый вид и сказал:

— Мальчик, мне тебя жалко. И я знаю твоих родителей. Очень солидные, хорошие люди. Их сыну не подобает ходить по базару с дохлой коровой на привязи и изображать из себя барышника. Вот тебе два рубля. Иди отсюда с Богом. И чтоб ты больше никогда не выигрывал в лотерею. Это тебе мой совет.

Я принял дрожащей рукой два рубля. Мясники снова начали смеяться, поздравляя Нафтули с покупочкой и требовать с меня магарыч. Никакого магарыча я этим кровопийцам не поставил. Два моих рубля были израсходованы позже самым позорным образом: на Электро-Биограф, на караимскую халву и на прочие радости жизни.

История с коровой вошла в неписанную летопись моего родного города, не богатую большими событиями. Возможно, еще и сейчас старожилы, сидящие летними вечерами на скамьях в пыльном скверике

Айвазовского, вспоминают, как однажды мальчик выиграл за пять копеек корову, и что из этого вышло... Ничего из этого не вышло, если не считать, что репутация моя была навсегда загублена, и потом еще долгие годы, при встрече со мной, карантинные босяки начинали мотать головой и мычали:

— Мууу... Мууу... Дай стакан парного молока за копейку!

ПОД НЕБОМ ИСПАНИИ

МАДРИД СТАРЫЙ И НОВЫЙ

Достигли мы ворот Мадрита!
«Каменный Гость» —
Пушкин

КАРАВЕЛЛА летела над Пиренеями. Французские зеленые луга, виноградники и сады остались позади. Внизу — голые гребни гор, суровый, дикий пейзаж. Когда-то путешествие в Испанию было связано с почти непреодолимыми препятствиями; теперь полет в Мадрид из любой части Европы продолжается два-три часа и с поднебесной высоты Пиренеи кажутся рельефной картой. Начинается плоскогорье Старой Кастилии, безводное, каменистое, летом — сожженное солнцем, зимой — продуваемое ледяными ветрами Гвадарамы. Испокон веков человеческая рука не прикасалась к этой буро-красной земле. Только ближе к Мадриду появляются признаки жизни, распаханные поля, редкие деревушки вдоль берегов мелководного Манзанареса.

И, внезапно, в центре этой обездоленной пустыни возникает Мадрид с его двухмиллионным населением. Быть может, это единственный в Испании город, в котором старина причудливо сочетается с мо-

дернизмом. Кто-то сказал, что у Мадрида — внешность современной столицы и душа XVII-го столетия. Трудно найти более удачное определение.

До 1936 года в Мадриде было не больше полумиллиона жителей. Столица Испании разрасталась очень медленно и, по существу, мало чем отличалась от Мадрида, каким он был сто или двести лет тому назад. Когда на коронацию Альфонса XIII съехалось много иностранных делегаций и журналистов, их пришлось разместить по частным домам, — в столице не было даже приличных отелей! С началом гражданской войны, Мадрид оказался на линии огня и в течение двух лет целые кварталы были уничтожены артиллерийским обстрелом и бомбардировками. Франко вступил в Мадрид со своими войсками 28 марта 1939 года. Город лежал в развалинах.

Тщетно искать сегодня в столице следов гражданской войны. Только на очень старых, уцелевших зданиях, можно еще обнаружить раны, нанесенные осколками снарядов. Ни один город Испании не был восстановлен с такой быстротой. Население его за двадцать пять лет увеличилось в четыре раза. Появились небоскребы американского типа, роскошные отели, целые кварталы новых домов.

Помните, что происходило во время войны в «Университетском городке»? Здесь борьба шла за каждую пядь земли, за каждую груду кирпичей. А теперь на этом месте, обильно политом кровью, вырос новый университет, с новыми зданиями, и вокруг насажен молодой парк. Всё проходит, всё забывается.

Для нынешних студентов Мадридского университета события 39 года — это уже история.

А что же думает и чувствует старшее поколение? Мне трудно ответить на этот вопрос. С испанцами о политике я не беседовал — прежде всего по причине незнания языка. Я видел страну мирную, где люди трудятся, получают за свой труд гроши, но как-то еще умеют наслаждаться жизнью, или тем немногим, что жизнь может им дать. Я видел много богатства, и еще больше бедности. Меня заверили, что контрасты эти раньше были куда более резкими. Нет никакого сомнения, что нищета порождает недовольство. Но когда же Испания была счастливой и не знала нищеты?

В этих очерках очень мало политики. Это впечатления человека, впервые попавшего в Испанию и сразу влюбившегося в нее.

*

Гран Виа, переименованная в улицу Хозе Антонио (в честь основателя Фаланги, растрелянного сына Примо де Ривера), одна из главных торговых артерий города. Магазины здесь по роскоши и изысканности товаров ни в чем не уступают Пятому Авеню. С одним только преимуществом: вдоль широких тротуаров тянутся террасы кафе, где с утра до поздней ночи сидят мадридцы, утоляющие жажду. Испанцы никуда не торопятся и торопить их нельзя. Они всегда опаздывают, — не даром философ сказал: «Раз

мне суждено умереть, я хотел бы, чтобы смерть пришла ко мне в Мадриде».

Мадридцы, конечно, работают, но с беспечным видом бездельников, и у них всегда найдется время, чтобы посидеть час-другой в кафе, выпить стакан ледяной, молочной «хорчаты» или пива. Терраса кафе, это некое подобие театра: мадридская жизнь медленно и не торопясь проходит мимо.

Не успел я сесть за столик и заказать «уна соло», чашечку черного кофе, как появился чистильщик сапог, придавший моим туфлям невиданный блеск. Стоит это удовольствие пять пезет (семь с половиной американских сентов), — в Испании еще не научились сдирать шкуру с иностранных туристов... После чистильщика подошел старичок с деревянным ящиком на груди. Он торговал папиросами «оптом и в розницу». Кажется, больше в розницу: я видел элегантно одетых мужчин, покупавших одну-две папиросы из открытой пачки. Появился слепой торговец лотерейными билетами. Уверяют, что некоторые слепые приносят свои билеты в церковь, чтобы их окропили святой водой. Такие «благословенные» билеты имеют все шансы выиграть.

Смуглый цыганенок прогуливался между столиками, соблазняя вафлями. В одной руке он держал поднос с вафлями, в другой зажимал несколько медяков, всю свою дневную выручку. Нигде не видел я такого количества уличных продавцов, как в Испании. Особенно хороши они на Юге, в городах Андалузии, где в узких улицах всё время слышишь пение

торговцев глиняной посудой, сластями, рыбой, фруктами:

— Фрууута! Фрута! заливается один.

— Сардина фреска... Лангоста, вопит страшная, усатая старуха-рыбница.

Витрины магазинов на Хозе Антонио полны красивыми вещами, но мне показалось, что пресловутая испанская дешевизна, о которой говорили еще в Америке, сильно преувеличена. Хорошие вещи — дороги, дрянные — дешевы... Если свернуть с главной артерии в боковые улицы, цены сразу снижаются. Приятным сюрпризом оказались книжные магазины — много переводов французских и американских писателей. На книгу бóльший спрос, чем на периодическую печать. Газет и журналов мало и по сравнению с французскими или итальянскими изданиями они носят какой-то очень уж захудалый вид. Можно допустить, что испанцы приняли режим Франко и по своему им довольны. Но франкистских газет они не читают.

*

В третьем часу дня, когда солнце начало сильно припекать, я отправился завтракать в ресторан, по заранее припасенному адресу. Ресторан был расположен в старом квартале Мадрида, в одной из средневековых улочек, в которых «запрещено солнце и автомобили» — просто по причине необычайной их узости. Хозяин встретил меня, как старого друга и посоветовал спуститься в подвальное помещение, — там будет прохладнее. Толстые стены, выбеленные из-

вестью, не пропускают жары и уличного шума. Средневековье и... аппараты «Эйр кондишон».

Здесь не едят, а священнодействуют. Тщательно составляют меню, подбирают к нему соответствующее вино, — всё это не торопясь: на завтрак полагается не меньше двух часов...

В первый день я соблазнился и заказал испанское блюдо «Пуэлла а ла Валенсиен». Был у меня при этом вид человека, бросающегося в жаркий день в ледяную воду. Мэтр д-отель выбор одобрил и когда я расправился с пахучей андалузской дыней, принес громадную медную сковороду, в которой был запечен желтый рис в оливковом масле, какие-то загадочные ракушки, куски раков, рыба и... мясо, цыпленок, — всё вместе, приправленное красным сладким перцем. «Пуэлла» оказалась замечательно вкусной и, к моему изумлению, самоубийца выжил, и даже заказал какой-то особенный торт со сливками и допил бутылку арагонского Вальдепанаса. В Мадриде, действительно, оказался сухой, горный воздух, вызывающий неутолимую жажду.

После подвала и Вальдепанаса снаружи показалось невыносимо жарко. К этому времени все магазины на Хозе Антонио были уже закрыты, кафе опустели — наступил священный час «сиэсты». На улицах не было ни души. Даже автобусы куда-то исчезли и шоферы такси мирно спали на стоянках. Сиэста в Испании не только нормальное, но и совершенно необходимое явление, и иностранец очень быстро усваивает эту блаженную привычку. Завтракают здесь

в три часа дня, обедают очень поздно, часов в одиннадцать, и по настоящему люди живут, главным образом, ночью, когда спадает дневная жара и все высыпают на улицы. Редко кто идет спать раньше двух часов. А между тем, жизнь начинается в Мадриде рано, в восемь-девять утра все уже на работе. Потерянные часы сна мадридцы наверстывают во время дневной сиэсты, когда город совершенно замирает.

Только часов в пять улицы снова оживают. В кафэ и в кондитерских появляются нарядные дамы. Завязываются знакомства, идут разговоры, с треском открываются и закрываются веера. Грация, с которой испанка играет веером — поразительна. Веером здороваются, приветствуют издали знакомых, делают знаки, — веер говорит, выражает любые чувства женщины, отлично передает ее настроения.

С каждым часом толпа становится всё гуще и оживленнее... На столиках уже стоят тонкие бокалы с хересом. В барах попроще, в боковых улицах, люди теснятся у стойки, пьют красное и белое вино, закусывают большими розовыми креветками — гамбас, сухой колбасой с красным перцем, фасолью в уксусе, жареной рыбешкой. Мадридцы постоянно что-то едят. В барах и в закусочных киосках в парках разложена по стойке нарезанная сырая ветчина, куски сыра, сардины. На перекрестках мороженщики надрываются:

— Хэладо, хэладо! Ванила, чоколате, карамело!

Так проходят часы в каком-то бессознательном, ленивом блаженстве бытия. Солнце село, наступили прозрачные сиреневые сумерки. С близких гор Гвада-

рамы уже тянет вечерней прохладой. Город ярко освещен, загораются тысячи неоновых вывесок. Начинается «пасео», т. е. променад, когда семейные люди идут в кафе или глазеть на витрины магазинов, а молодежь, держась за руки, бродит по темным аллеям парка Эль Ретиро.

Множество молодых, черноглазых, красивых девушек. Но с наступлением ночи сеньорита одна на улицу не выйдет, — ее будет сопровождать подруга или «новио», т. е. жених, постоянный кавалер. Дуэньи в Испании больше не существуют, но в каком-то измененном виде обычай этот сохранился. Не помню уже где, в отеле Кордовы или Севильи, я позвонил и попросил прислать в комнату бутылку минеральной воды. Несколько минут спустя явились две горничные. Молодая и очень миловидная несла поднос с бутылкой и стаканом. За спиной ее стояла старуха, приставленная, так сказать, для наблюдения за добрыми нравами. Я не сразу понял, в чем дело, но на следующее утро, когда мне принесли в комнату завтрак, сцена эта повторилась, — дуэнья тоже пришла и тоже получила на-чай.

Весь вечер, под акациями на бульваре Кастеллан, бродят жгучие брюнеты с тонкими талиями матадоров, ищут знакомств и говорят находу цветистые комплименты:

— Счастлив тот, кому ты подаришь улыбку...

— Если ты войдешь в океан, вода вокруг тебя закипит...

И я видел на ночной мадридской улице, как груп-

па молодых людей расступилась перед девушкой, и как один из них с почтительным восхищением крикнул ей вслед:

— Кэ салаа...

То есть: какая соленая! Это — самый большой комплимент, который можно сделать красоте и грации сеньориты.

Так ли уж они грациозны и красивы? Мы все представляем себе испанку такой, как рисуют ее на туристических плакатах: севильскую красавицу с осиной талией, высокой прической, с розой в черных волосах и даже с неизбежными кастаньетами. Увы, — причесываются теперь испанки так, как принято в Париже или в Холливуде. Во всяком случае высокие гребни, розы и красные гвоздики сохранились только у гитан, выступающих в ночных кабарэ. Очень молоденькие девушки в Мадриде хороши, — так, как могут быть во всем свете хороши восемнадцатилетние девушки. Но стоит красавице из сеньориты превратиться в сеньору, как она вдруг теряет свежесть и прелесть молодости, тяжелеет в бедрах, полнеет в талии и легенда об испанской красавице блекнет.

*

Это, вероятно, единственная страна в Европе, кроме Англии, где хорошим манерам и приличной одежде еще придается большое значение. В первый вечер я не мог понять, почему в такой бедной стране все на улице отлично одеты. Люди, знакомые с испанским бытом и нравами мне объяснили, что испанец

будет экономить месяц на еде, чтобы купить элегантный костюм. Лакированные туфельки на крошечных ногах сеньориты добыты ею путем больших лишений. После ньюиоркской распущенности в одежде поразило, что за время пребывания в Испании я не встретил ни одной женщины в штанах или, упаси Господи, в шортах. Это просто немыслимо, — женщина должна быть одета, как подобает сеньоре, прилично и элегантно.

Вопросы чести и любви больше не разрешаются в Испании дуэлями на шпагах или ударом навахи, но с этими вопросами и сегодня не шутят. Люди необычайно чувствительные, до крайности самолюбивые, испанцы вместе с тем доброжелательны, быстро сближаются, с радостью готовы помочь, чем могут.

Даже во время короткого пребывания в Испании иностранец чувствует доброе к себе отношение местных людей. Они горды, но не высокомерны; готовы служить, сохраняя при этом чувство большого и природного достоинства. Мне приходилось несколько раз просить о мелких услугах и я чувствовал, что от меня не ждали никакой специальной благодарности, кроме обычного «муи грасиас».

Этот первый вечер в Мадриде я провел в старом городе, в лабиринте узких улочек вокруг Плаза Майор. Замечательная площадь! Не такая она старая по испанским понятиям, — есть здесь города, считающие свою историю тысячелетиями, — площадь была построена в 1619 году, окружена со всех сторон колоннадой и за три века своего существования совсем не

изменилась. Изменились только люди и нравы. Когда-то с балконов этих домов короли и двор смотрели на бои быков и на турниры, происходившие внизу, на площади. Здесь же на кострах Инквизиции сжигали еретиков. В последний раз экзекуция на Плаза Майор была в 1680 году. Но в Севилье обычай сохранился дольше — последнюю колдунью там сожгли ровно сто лет спустя, всего за девять лет до Великой Французской Революции. Теперь вместо дымных ауто да фэ посреди площади горят старинные газовые канделябры. В центре города улицы освещены неоном и электричеством, но в старом квартале чудесно горят газовые рожки и под вечер человек идет от фонаря к фонарю и зажигает их своей длинной палкой.

От Плаза Майор пошел я под аркой куда-то вниз, по лестнице, свернул в улочку, — такую узкую, что балконы верхних этажей почти соприкасались, повернул налево, направо, и скоро потерялся. Торопиться было некуда, всюду сновали люди, «пасео» было в полном разгаре.

В барах нельзя было протиснуться к стойке. Остро пахло оливковым маслом. В окнах трактиров для приманки посетителей висели окорока, связки чеснока и красного лука. Я видел детей, которые стояли в барах, рядом с родителями, и тоже что-то закусывали и пили красное вино... Другие дети играли в ловитки на площади, посреди пыльных акаций. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, хотя был второй час ночи. Матери сидели на скамьях, наслаждаясь прохладой. Именно на этой площади подошла

ко мне молодая цыганка с младенцем на руках. Она быстро и певуче заговорила, протягивая руку. Я понял только, что она просила милостыню «Пор Кристо крюсификадо», — во имя Христа Распятого. Получив несколько пезет она продолжала идти за мной, и теперь уже предлагала погадать, и всё быстро и скороговоркой говорила о какой-то сеньоре, которая, должно быть, сохнет от любви ко мне, — мне почему-то показалось, что цыганка явно не имела в виду сеньору Седых.

В два часа утра я вышел на Пуэрта дель Соль, где нашел такси. Было немного стыдно ехать домой так рано, — город жил полной жизнью, мадридцы «убивали ночь». По дороге попался мне странный человек: с палкой, в адмиральской фуражке, в кожаном переднике, обвешанном тяжелыми ключами.

В конце улицы кто-то стоял перед запертыми воротами, нетерпеливо хлопал в ладоши и кричал во весь голос:

— Серено! Серено!

Человек в адмиральской фуражке и был этот «серено», ночной сторож, отпирающий двери и ворота запоздалым гулякам. У жильцов старых домов ключей нет, да и как возьмешь с собой на прогулку ключ весом в два-три фунта? Позже, каждую ночь, во всех городах, видел я этих людей, обвешанных ключами, — что-то очень далекое, дошедшее до нас из глухой испанской старины.

ПРОГУЛКИ ПО МАДРИДУ

> **Art is long and time is fleeting.**
> **"A Psalm of Life"**
> *Longfellow*

С УТРА к музею Прадо направляются караваны автокаров с туристами. У входа их сортируют по национальностям. Отдельными группами идут испанцы, итальянцы, французы, немцы, американцы. Гиды на всех языках дают объяснения:

— The Spanish Art...

— L'Art Espagnol...

— L'Arte Spagniola...

— Die Spanische Kunst...

Американский гид оглядывает своих, немного растерянных питомцев, и хладнокровно сообщает:

— Пожалуйста, не задерживайтесь у картин и не отставайте. Помните: у нас ровно один час двадцать минут на осмотр Прадо.

Один час двадцать минут на Прадо, который можно изучать годами! Туристы отважно устремляются вперед. Мимо пролетают полотна Веласкеза, Гойи, Мурильо, Зурбарана, Рибера, — бесчисленные

Распятия, снятия с креста, мученичества святых, Мадонны с лицами андалузских красавиц... Минутная остановка перед полотнами Греко, с его стилизованно-удлиненными фигурами святых. Почему Греко всегда удлинял свои модели? Стремление ввысь, отрыв от всего земного, или, как предполагают некоторые критики, попросту зрительный дефект художника, астигматизм?

Греко родился на Крите, звали его Доменико Теотокопули. Кто помнит настоящее имя Эль Греко, ставшего самым национальным из всех испанских художников? Есть в его полотнах какая-то мистическая взволнованность. Шестнадцатый век, Ренессанс, но в полотнах Греко заложено уже всё, что триста лет спустя нашли импрессионисты, а его секрету ярких синих, желтых и серых тонов мог бы позавидовать любой художник-модернист. Он открывает дорогу Сезану и Ван Гогу. Сегодня техника и краски Греко потрясают, но больше не удивляют и не могут вызвать протеста. Какое это было откровение для его времени, каким революционером и безумцем казался он людям Возрождения, воспитанным на классической красоте и гармонии Микеланджело, Рубенса или Тициана!

Душа Греко уходила в небеса. Его современник Веласкез твердо стоял ногами на земле и отлично уживался при дворе Филиппа IV, — король был таким великим любителем живописи, что не останавливался даже перед кражей картины, если она ему нравилась. Веласкез имел свои апартаменты и мастерскую

при дворце и его третировали, как всех куртизанов, — осыпали милостями и золотом, но при случае могли напомнить, что художник всё же принадлежит к дворцовой челяди. Правда ли, что Веласкез поставлял своему коронованному покровителю красавиц в его павильон в Буон Ретиро? Когда Греко умер, Веласкезу было всего шестнадцать лет и он учился в севильской мастерской художника Пачеко. Позже Пачеко женил талантливого ученика на своей дочери. В это время в Севилье учился другой шестнадцатилетний юноша, сын простого крестьянина, кампесино Зурбаран, который всю жизнь будет писать инквизиторов, аскетических монахов и святых с пергаментными лицами. Зурбаран продолжал творчество Греко и Рибера, художника испанской инквизиции, мастерство которого ужасает своей холодной и жестокой реальностью. Веласкез не увлекался религиозными сюжетами. Он принес в испанскую живопись какой-то особенный реализм и «чувство спектакля», — чего стоят в Прадо его «Ткачихи» или «Трактирные и кухонные сцены»! У Веласкеза кисть твердая, рисунок точный. Его Филипп IV в охотничьем костюме или Дон Хуан астурийский не столько портреты, сколько исторические картины. Он был придворным живописцем, писал королей, но охотно брал моделями карликов и шутов — здесь маршалу двора незачем было льстить и проявлять дипломатию, — он мог показать человеческую сущность, скрывавшуюся за уродливой внешностью модели.

В истории народов случаются чудесные эпохи.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь были подарены России одновременно. Возьмите начало семнадцатого века в Испании, период расцвета живописи и литературы. Греко, Рибера, Зурбаран жили в одно и то же время. В 1618 году умер Сервантес, а два года спустя в севильской церкви крестили малютку Мурильо. Никогда больше в испанской истории не повторится этот «Золотой век», как в России не повторятся одновременно Пушкин, Лермонтов и Гоголь... Не только в Прадо, но в любом большом музее или соборе Испании висят полотна Мурильо, этого сладчайшего художника, любимого живописца мягких и чувствительных душ. Мурильо любил рисовать детей севильской улицы, — нищих, в лохмотьях, голодных, — таких, каким он был сам в детстве, когда бродил по набережным Гвадалквивира, прося милостыню и подбирая арбузные корки. Еще будучи ребенком он нашел источник для пропитания: на дощечках рисовал Богородицу Гваделупы и продавал иконки матросам, уходившим в плаванье... Его Мадонны слишком красивы, его изображения Христа чрезмерно женственны. И всё же, с полотен Мурильо льется какой-то нездешний свет и особая чистота, — никто не умел так поразительно изображать небесные видения, может быть потому, что он был глубоко верующим человеком, и вера его доходила до галлюцинаций — ему казалось иногда, что он беседует с Богородицей и ангелы дописывают за него полотна. Однажды в Севилье Мурильо застыл в церкви перед «Снятием с креста» Пьера де Шампаня... Час был поздний.

Привратник хотел закрыть церковь и дотронулся до его плеча.

— Сеньор, я иду запирать двери. Пора.

— Оставьте меня. Я хочу дождаться, когда Святое Семейство снимет тело Спасителя.

*

— Лэди и джентльмэны, возвращает нас к действительности гид, прошел уже час, а мы еще не видели залы Гойи.

Неужели прошел целый час? Да, чувствуется усталость, уже меньше реагируют посетители на единственные в мире шедевры, собранные в Прадо... Ах, вот они, два знаменитых портрета одетой и раздетой Махи, «Маха вестида» и «Маха денуда»! Перед ними теснится такая же толпа, как перед Джиокондой в Лувре. Когда-то считали, что безумец Гойя уговорил позировать для этих двух полотен свою возлюбленную, герцогиню Альба. Нет, позировала не герцогиня, но Гойя мог это сделать, — такая вещь была вполне в характере этого человека. Он подбирал на улицах Севильи красивых гитан, приводил их в студию и писал с них лики святых. Гойя был последней вспышкой кастильского гения, последним большим испанским художником восемнадцатого века. После его смерти прошло сто лет, прежде чем в мире появился следующий гениальный испанец — Пикассо.

Вся жизнь и всё творчество Гойи были построены на контрастах. Он родился в бедной, почти нищей семье, а потом в жизни сорил, не считая, шальными деньгами. Порочная королевская чета — Карл IV и

Мария Луиза Пармская осыпали его почестями и забрасывали заказами; он написал несколько их портретов, которые можно считать жестокой карикатурой, если бы карикатурность не была вообще чужда художнику. Один из этих портретов висит в Прадо. Гойя ужасающе правдиво изобразил физическое и духовное уродство королевской семьи. Сколько самодовольства, надменности и заносчивости на лицах Карла IV и Марии Луизы! Нужно подняться этажем выше, чтобы увидеть «Ужасы войны» — картину расстрела французскими войсками мадридцев 3 мая 1808 года, — производящую впечатление страшной галлюцинации. Недаром Теофиль Готье говорил, что одна картина Гойи дает для понимания Испании больше, чем целая книга.

С 1792 года, когда Гойя оглох, живопись его стала носить совсем иной характер. От «иллюстратора» бытовых сцен в гладком французском стиле он вдруг перешел к страшным маскам-лицам, к уродливым сторонам человеческой натуры. Ему и раньше была чужда всякая слащавость. Теперь от его полотен повеяло жестокой суровостью правды. Гойя выражал в своих вещах только то, что тревожило его ум и беспокойную душу — зверства войны, безжалостную тупость тауромахии, «Капризы» и «Сны», преисполненные уродливой, мрачной и дикой фантазии. В конце жизни он не мог выдержать морального гнета, царившего в Испании, эмигрировал в Бордо и там умер в 1828 году.

Много лет спустя было решено перевезти останки

великого художника на родину. Когда открыли могилу, обнаружилось, что голова Гойи пропала. Кто-то ее похитил. Обезглавленный скелет привезли в Мадрид и похоронили в церкви, где Гойя когда-то сделал под куполом роспись — чудо св. Антония.

В послеполуденные часы я сел в такси и попросил отвезти меня в «Пантеон Гойи», так называется церковь св. Антония. Шофер не знал, куда ехать. В путеводителе моем оказался точный адрес и церковь мы, всё-таки, нашли. Двери были заперты. Должно быть, час сиэсты еще не кончился. Я постучал раз, другой. Наконец появился сонный и недовольный привратник и спросил:

— Que quiera usted? Senor Estranjero?

Да, я был «эстранхеро», иностранец, но десять пезет произвели магическое действие: двери тотчас же открылись.

В церкви, построенной в стиле барокко, было светло. С купола лился яркий солнечный свет. Привратник указал рукой на простую плиту у алтаря, на которой было выгравировано имя Гойя.

Под этой плитой покоились обезглавленные останки великого художника.

Я вышел из церкви, позади которой была какая-то зелень, — остатки того самого парка, в котором 3 мая 1808 года французы расстреливали испанских патриотов. Гойя жил рядом, в этом же квартале. Он видел расстрелы, и под свежим впечатлением написал полотно, висящее теперь в Прадо. Оно написано «с плеча», широкими мазками, и оно очень страшное. У

Гойи была чисто испанская жестокость и беспощадность.

— Пишите, — говорил он молодым художникам, — чтобы люди плакали, каялись и узнавали Бога! Чтобы сильные делались кроткими, а слабые — сильными.

На полотне «Третье мая» сильные — это те, кого расстреливают, а слабые — солдаты маршала Мюрата.

*

Когда-то королевский дворец, построенный после пожара мадридского Альказара в 1734 году, был за городской чертой. Здесь уже начинались леса, а вдали, на горизонте, виднелась цепь розовых гор Гвадарамы, кажущихся миражем в прозрачном воздухе летнего дня.

Теперь Мадрид разросся и приблизился к королевскому дворцу, который был построен с размахом, по-версальски. Для росписи плафона в тронном зале выписали Тьеполо. Украшали два столетия, — всюду гобелены, тяжелые шелка, шитые золотом, портреты королей и инфантов. Дворец пустует со дня отречения Альфонса XIII, но Франко изредка принимает здесь верительные грамоты иностранных послов со всей помпой старой монархии... Впрочем, когда в Испании будет восстановлен монархический режим, а вопрос этот считается предрешенным, дворец снова заживет своей привычной жизнью. Пока что его показывают посетителям дворцовые лакеи в старых, потертых фраках с золотыми галунами.

Туристы идут из зала в зал, любуясь портретами кисти Гойи, Рибера и Веласкеза. Задерживаются перед монументальными королевскими кроватями с пыльными парчевыми балдахинами, бесвкусными подарками, которыми обменивались когда-то королевские дворы, хрусталем и севрским фарфором... Старички-лакеи печально следуют за посетителями и выключают электричество, чтобы люстры зря не горели.

Мы миновали красный тронный зал, в котором один раз в год, после возвращения из летней резиденции в Сан Себастьяно, Франко принимает правительство и дипломатический корпус, салон послов, потом зал, в котором бьют и играют на все лады сотни редчайших часов со сложными механизмами, какие-то спальни, — нам показали восемьдесят комнат, а во дворце их две тысячи! Недаром Наполеон, посетивший дворец во время короткого и неудачного пребывания на испанском троне Жозефа Бонапарта, сказал своему младшему брату:

— Ты здесь лучше устроился, нежели я в Тюильери!

Всё во дворце поддерживается в порядке, но на всем лежит какой-то неуловимый отпечаток запущенности.

— Вот салон, в котором Альфонс XIII и его семья провели последний день перед отречением в апреле 1931 года, — сообщает гид.

Гид — молодой, для него это уже история... А я помню день, когда отрекшийся Альфонс XIII приехал в Париж. На Лионском вокзале, к прибытию мад-

ридского экспресса, собралась целая армия журналистов и фотографов. Альфонс XIII вышел из вагона-салона. Он был в котелке, старался улыбаться, но меня поразило, что нижняя его бурбонская губа как-то особенно отвисла и лицо носило следы бессонницы... Как всё это теперь далеко! Альфонс XIII умер в изгнании и похоронен в Риме. А в Эскуриале, в усыпальнице испанских королей, показывают посетителям пустой, мраморный саркофаг, в котором Альфонс XIII будет погребен после восстановления в Испании монархии.

*

Неподалеку от Прадо расположен лучший мадридский парк Эль Ретиро. Множество цветов, фонтанов, широкие аллеи, уходящие к живописному озеру... Некоторые аллеи усажены акациями, чудесными деревьями, которые напоминают наш Юг. Акации в Испании повсюду, особенно много их в Андалузии. Вдруг вспомнил я фразу из романа «Пятеро» Вл. Жаботинского:

— А акация пахнет, как скаженная!

Слово-то какое, — «скаженная», я не слышал его десятки лет! Может быть и в России его теперь больше не знают. Акация пахнет, «как скаженная», только весной, во время цветения, а в августе, когда я был в Мадриде, не было уже ни цвета, ни запаха, — только замечательная зелень. Можно взять, как когда-то, веточку акации и осторожно начать обрывать листочки: «Любит, не любит, поцелует, плюнет, к сердцу прижмет...» Нет, лучше не рисковать в этом возра-

сте!.. В парке увидел я другое дерево с «рожками» или «стручками», дерево моего детства. Не знаю, как оно называется. С ветвей свисают зеленые рожки. К осени они высыхают, становятся коричневыми, и если потрясти, внутри стучат зерна, похожие на кофейные...

Долго ходил я по Мадридскому парку и удивлялся неслыханному количеству памятников. Испанцы — великие любители монументов и воздвигают их всем: генералам, писателям, художникам, латинским странам, благодетелям, монахам, мореплавателям. Увы, — памятники все бездарные, громоздкие, претенциозные, с аллегорическими фигурами в стиле эпохи королевы Виктории. К слову сказать, разочаровал меня и самый знаменитый мадридский фонтан Сибель с его коротколапыми каменными львами, — так я и не понял, что нашли в нем мадридцы замечательного... В парке Эль Ретиро полезен оказался только памятник африканскому герою, генералу Мартинезу Компону. Его избрали для отдыха бесчисленные голуби, не считающиеся ни с генеральскими заслугами, ни с орденами... В боковых аллеях от разросшихся деревьев было почти темно и удивительно прохладно. На скамьях сидели старики, сошедшие с портретов Гойи последнего периода, какие-то люди с книгами, а молодежь, парами, держась за руки, шла к сверкающему вдали озеру.

Летний вечер медленно умирал, переходя в бархатную, звездную ночь, когда я вернулся в центр Мадрида.

БОЙ БЫКОВ В МАДРИДЕ

«На Плаза де Торо есть только одно животное — толпа».
Испанская поговорка

ПОПАСТЬ на воскресный бой быков в Мадриде не так просто. Но расторопный портье отеля пообещал всё устроить и через час явился с билетом на «Плаза де Торо». Билет этот в кассе стоит всего пятьдесят пезет. Заплатить за него пришлось ровно в десять раз дороже, — портье долго объяснял, какие живодеры перекупщики... Но зато место замечательное, на теневой стороне и у самого барьера, так что видно будет как на ладони.

В Испании всё начинается с опозданием, кроме боя быков: с серьезными вещами испанцы не шутят. Так как коррида объявлена на пять часов, пришлось пожертвовать сиэстой и отправиться на арену, расположенную на окраине города, пораньше.

Предосторожность не была напрасной. Казалось, весь Мадрид двинулся в сторону Плаза де Торо. Бесконечный поток автомобилей, такси, автокаров, множество пешеходов. Всё это медленно, под палящим августовским солнцем, двигалось в одном направле-

нии, словно руководимое какой-то неведомой силой. Люди шли, перебрасывались шутками. Вдруг произошла заминка и толпа зааплодировала: впереди с трудом пробирался большой автомобиль, в котором сидел матадор в ярком костюме и еще какие-то люди довольно мрачного вида с бритыми, сизыми лицами.

— Хуан Каллеха, — закричали восторженные голоса. — Да здравствует Хуан!

Это был один из матадоров, которому сегодня предстояло убить двух быков. Он сидел в машине, как каменное изваяние, не улыбался, не отвечал на приветствия, напряженно смотрел куда-то в пространство. Из часов, предшествующих бою, самый мучительный для матадора, это час, когда он идет на арену, терзаемый страхом и дурными предчувствиями. С утра он не находит себе места. Завтракает рано и очень легко. Потом отдыхает, слоняется по дому, разговаривает с членами своей «куадрильи», т. е. с помощниками, которые выйдут с ним на арену. Медленно одевается: черные туфли, розовые чулки до колен, узкий костюм с дорогим золотым шитьем. На плечо набрасывает тяжелый парадный плащ «капот де пасео», половина которого, небрежно сложенная, лежит на его левой руке. После парада, которым открывается каждая коррида, матадор сбрасывает плащ и передает его на хранение тому из друзей, кого он хочет особо почтить своим вниманием.

Старые и очень знаменитые матадоры открыто и не стесняясь признают, что выходя на арену, для встречи с быком, всегда испытывают чувство страха.

Доблесть заключается не в том, чтобы не бояться, а в подавлении в себе чувства страха. Нужно двинуться навстречу врагу с каменным лицом, контролируя каждое движение, малейший свой жест. Да и как не бояться? У матадора один шанс из десяти быть изувеченным или убитым. Рано или поздно каждый «спада» попадает на рога разъяренного быка. Счастливцы отделываются раной, но в сезон, с мая до ноября, несколько матадоров погибают на арене. Вот почему с утра тореро, прежде всего, отправляется в церковь попросить Богородицу, чтобы Она «дала ему быка» и спасла от гибели. В Севилье, в церкви Нуэстра Сеньоры Макарены, покровительницы матадоров, я видел в витринах ризницы, рядом со старинными чашами для причастия и драгоценными ризами, шитые золотом костюмы матадоров. Там был костюм Манолетто, который он поднес Богородице незадолго до того злополучного дня, когда разъяренный бык вспорол ему живот на провинциальной арене Линареса... Манолетто был величайшим из матадоров, но и он в минуты откровенности признавался:

— Всякий раз, когда я вижу рога быка, мне хочется от него бежать... Но люди не платят деньги за то, чтобы Манолетто убегал от быка...

В стенах самой Плаза де Торо есть маленькая часовня, куда заходят бойцы перед началом корриды.

Матадоры религиозны и суеверны, верят в приметы, боятся дурного глаза, плохой встречи. В романе Бласко Ибаньеса «Кровавые арены» едущий на бой быков Галлардо бледнеет от страха: его автомобиль

должен остановиться, чтобы пропустить похоронную процессию. Приметы не обманывают: в последней главе романа Галлардо погибает, — смертельно раненый бык всаживает в него свои рога.

*

И вот, в ослепительном блеске августовского солнца, перед нами вырастают стены арены, построенной по образцу Колизея. Что творится у главных ворот! Толпы людей, не имеющих билета, поджидают снаружи прибытия своих героев, чтобы только прокричать их имя и, если очень посчастливится, притронуться рукой к их плащу... Тут же расположились торговцы мороженым, сластями и водой в глиняных кувшинах с узкими горлышками:

— Агуа фреска... Агуа фреска!..

Стаканов нет, но испанцы пьют воду из этих глиняных амфор особенным образом. Поднимают амфору высоко, на вытянутых руках, забрасывают назад голову и из горлышка льется в рот тонкая струйка холодной воды. За одну пезету можно пить сколько хочешь, пока не закроешь рта. Вся прелесть заключается в том, что ни одна капля драгоценной влаги не прольется на землю, всё попадет прямо в рот... В толпе цыгане продают программы, красочные афиши с изображением быков, бандерильи с бумажными украшениями и стальными гарпунами на концах.

Внутри невольно останавливаешься: какое зрелище! Тридцать тысяч человек сидят на кожаных подушечках, разложенных на каменных скамьях. Поду-

шечки эти иногда играют роль метательных снарядов. Разъяренная толпа забрасывает ими незадачливого матадора, не могущего справиться с быком.

Половина арены на солнце. Для успеха корриды вообще необходимо, чтобы была солнечная, безветренная погода:

— El sol es major torero, т. е. солнце — главный тореро. Солнца в Мадриде сколько угодно, и билеты на стороне «Сола» стоят гораздо дешевле, чем на местах, расположенных в «сомбра». Там, где пéкло, там и сидят настоящие любители тауромахии, подлинные «афисионадо» и ценители искусства. Оттуда всё время раздаются рукоплескания, крики, свистки, остроты, — это мадридская галерка. На головах у всех бумажные колпаки, тысячи вееров ритмично работают, стараясь создать хоть какое-нибудь движение воздуха. А в ложах у барьера, на теневой стороне, собрание местных красавиц и знаменитостей. Сюда приходят не только смотреть на агонию быков и на любимых матадоров, но и себя показать.

Ровно в пять на официальной трибуне появляется «президент», распоряжающийся боем. Он машет платком, раздается трубный звук, дробь барабанов, и ворота в центре медленно растворяются.

Начинается «пасео», парад. По совести, это единственный красивый момент всего дня.

Впереди на лошадях едут «альгазило», т. е. церемониймейстеры в черных костюмах и белых жабо эпохи короля Фердинанда II, в широкополых шляпах со страусовыми перьями. За ними медленно, с до-

стоинством, идут в ряд три матадора, герои сегодняшнего дня. Это — не знаменитости и не старые профессионалы, а «новилладос», т. е. новички, сдающие своего рода экзамен на мадридской арене. За каждым матадором шествует в затылок его «куадрилья», четверо тореро и бандерильеры, которые будут на арене испытывать и подготовлять быка. Все они тоже в шитых золотом и серебром костюмах. Тут, может быть, полезно объяснить терминологию корриды. Только один человек именуется «матадор» или «спада»: тот, кто убивает быка. Его помощники называются «тореро», но никогда не торреадорами. Торреадор существует только в презираемой испанцами опере «Кармен»... Но вернемся к параду. Дальше на лошадях выезжают две странные фигуры пикадоров, по внешнему виду — испанская разновидность ковбоев. На них широкополые касторовые шляпы с помпонами, короткие весты с черными нашивками, широкие кожаные штаны. Правая нога прикрыта стальными латами, — бык нападает на пикадоров только с правой стороны. В руках длинные пики... Шествие заключают пеоны, некое подобие конюхов. Выводят даже запряжку разукрашенных мулов с бубенцами. Эти мулы уволакивают с арены туши убитых быков.

Процессия подходит к президентской ложе. Матадоры снимают черные шапочки и почтительно кланяются. За ними подходят тореро, бандерильеры, пикадоры и пеоны. «Пасео» кончается, участники его уходят с арены. Остаются только «альгазилы», которые подскакивают к официальной трибуне и просят

разрешения начать бой. Президент бросает им ключ от ворот, ведущих к помещению быков. Если всадник поймал ключ на лету, толпа разражается аплодисментами: это доброе предзнаменование. Быки будут храбрые и матадоры на высоте. «Альгазилы» галопом уносятся с арены. Еще один протяжный трубный звук и красные ворота медленно открываются.

На арену вихрем вылетает черный бык.

*

Скажу сразу: бой быков вызвал во мне чувство глубокого отвращения. Чувство это обычно разделяют все, или почти все иностранцы, которым совершенно непонятна символика корриды, игра со смертью, приводящая испанцев в состояние полной экзальтации. Что же это за спорт, в котором одна сторона, т. е. бык, заранее приговорена к смерти? Испанцы объясняют, что коррида — это не спорт, а спектакль, зрелище, своего рода пьеса, в конце которой бык должен быть убит. В какой-то степени это еще и балет. Я люблю и театр, и балет, но чтобы видеть очень элегантные па, мне вовсе не нужно, чтобы матадор рисковал своей жизнью и чтобы молодое, сильное и красивое животное терзали на арене в течение двадцати минут, втыкая в него острые бандерильи и пики, заставляя его истекать кровью, бросаться на лошадей и, в конце концов, убивали, — большей частью не так быстро и аккуратно, как убивают их мясники на городской бойне.

Может быть, я просто не понял. Но даже Хэмингвей, страстный любитель тавромахии, вынужден был

признать в своей книге «Смерть после полудня»: «Я полагаю, что с точки зрения современной морали, т. е. с точки зрения христианской, бой быков защищать невозможно, — во всем этом слишком много жестокости». Парадоксально, что именно это незащитимое с христианской точки зрения зрелище пользуется наибольшим успехом в фанатически католической Испании! Жестокостью зрелища испанцев удивить нельзя. Когда-то они собирались на ауто да фэ, где сжигали еретиков, как на спектакль. Теперь спектаклем является бой быков, в котором прельщает их, главным образом, мужество «спады», его хладнокровие, элегантность приемов, твердость руки, блеск техники. Но не меньше интересует их и бык, который может оказаться или свирепым, или неожиданно трусливым. История быка известна публике досконально. Он родился в Андалузии, на ферме графа де Вистахермоза. Быку четыре года, он весит четыреста семьдесят кило, его рост...

Как всякий спектакль, бой быков имеет три акта.

В первой части корриды, «суэрте де варас», бык атакует, бешено мечется по арене, а тем временем «куадрилья» испытывает его характер и привычки. Один тореро сделает несколько «пассов» своим плащем с правой стороны, и когда на него ринется бык, поспешит укрыться за деревянным щитом барьера. Второй проделает такие же «пассы» с левой стороны. В зависимости от реакции быка, матадор, внимательно следящий за ним из-за барьера, уже знает, близорук ли торо, или дальнозорок, атакует он по прямой

линии, или описывает полукруг, как держит он голову во время атаки... В первой части зрелище еще не лишено грации. Тореро простирают свои плащи. Торо в слепой ярости на них устремляется и в самый последний момент плащ либо поднимается над туловищем быка, либо полукруглым движением, именуемым «вероникой», отбрасывается в сторону. Знаете, откуда пошло это название «вероника»? На религиозных картинах св. Вероника всегда изображается с куском белого полотна, которым она вытерла лицо страдающего Христа. Святая держит перед собой полотно двумя руками, точно так, как держит свой плащ матадор... Так причудливо и наивно переплетается имя святой с самым жестоким зрелищем, которое можно увидеть в наши дни.

Характер быка уже изучен матадором. Новый трубный звук возвещает о наступлении второй стадии боя. На арену выезжают на двух рослых лошадях пикадоры. Я постараюсь рассказать по возможности спокойнее, что происходит с лошадьми, у которых завязаны глаза, чтобы они не пугались атакующего быка и не понесли. Лошадей ставят с двух сторон арены, и тореро своими плащами привлекают быка к одному из пикадоров. Бык стоит несколько секунд, словно раздумывая, затем наклоняет голову и со страшной силой устремляется на несчастную лошадь, ударив ее в бок. Когда-то после этого первого удара лошадь падала на песок с распоротым брюхом, из которого вываливались внутренности. В уже цитированной книге Хэмингвея, есть одна позорная для этого

большого писателя страница. В своем пылу «афисионадо», желая оправдать всё варварство ритуала корриды, Хэмингвей пишет, что смерть лошади является «комическим эпизодом», потому что лошадь в бое быков играет роль комическую! К счастью, во времена Примо де Ривера была проведена «гуманитарная» реформа: было разрешено прикрывать бока лошадей специальными матрацами, которые более или менее — не всегда — предохраняют от ранения. В то мгновенье, когда торо ударяет рогами лошадь, пикадор вонзает пику в шейные мускулы быка и всей тяжестью своего тела наваливается на древко... Кровь начинает бежать из раны, но торо еще не отдает себе отчета в происшедшем. Он налетает на лошадь вторично, поднимает ее на воздух вместе с пикадором и сбрасывает их на землю. В этот момент пикадор в большой опасности. Его может придавить лошадь, или его может забодать бык. Но уже со всех сторон «куадрилья» машет плащами, стараясь отвлечь быка от своей жертвы, беспомощно бьющейся на земле... Три или четыре раза пикадор вонзает пику в шейные мускулы животного, стараясь растерзать и ослабить их. Бык устал, ослабел и отступает в тот угол арены, который он каким-то внутренним инстинктом выбрал с самого начала боя, как свой «дом», который он будет защищать. В этом углу ни один матадор не решится его атаковать, не рискуя своей жизнью.

Труба возвещает начало «терцио де бандериллас». Лошадей увели, вместо них появляется бандерильер.

Бык не хочет выйти из своего угла. Он считает,

что одержал победу над противником, сбив лошадь с ног. Но это отняло его силы и теперь он томится в тоске. Люди с плащами начинают его раздражать. Бандерильер топает ногами и кричит:

— Торо! Хью! Хью! Хью!

И торо принимает вызов. Выходит из заколдованного круга, собираясь броситься на человека. В эту минуту бандерильер бежит навстречу быку, описывая полукруг, и на всем ходу всаживает ему в мускулы шеи два раскрашенных ленточками гарпуна-бандерильи.

Три раза повторяет он свой бег, каждый раз рискуя попасть на рога разъяренному и окровавленному животному, и каждый раз всаживает ему в шею бандерильи. . . Теперь бык растерян, от нападения он переходит к обороне и в этой стадии становится особенно свирепым и опасным. Приближается «фаена», последняя сцена убийства. Матадор выходит на арену один. В левой руке у него мулетта, — небольшой ярко красный плащ, и тонкая толедская шпага.

Матадор подходит к трибуне, снимает шляпу и посвящает своего первого быка президенту. Второго он посвящает всей публике, или своему отцу, или знаменитому актеру, писателю. . . Президент машет платком: можно начинать.

Снова «вероники». На этот раз матадор проделывает их коротким плащем. Чем лучше матадор, тем ближе он должен стоять к быку, который проносится

мимо, почти задевая его рогами. Стыд и позор «спаде», который не совладал со своими чувствами и отступил. Его освищут, в голову его полетят кожаные подушки и даже бутылки... Он не может отступить, не смеет сделать шага в сторону, он должен быть как статуя, работать одними руками, — поднимая красную фланель над головой быка, пряча ее за спину, даже заворачивая в нее свое тело. В этот момент становится особенно очевидным неравенство боя. Афисионадо считают, что в характере быка есть некоторая «простота». Бык просто глуп. Если бы он понял, что главный его враг — не красная тряпка, а человек, который ее держит в руках, он мог бы убить матадора в одну секунду, простым поворотом головы. Но торо этого не понимает, ему нет дела до человека, его волнует только тряпка, а матадор делает несколько «пассов» вызывая аплодисменты и крики «Оллэ!», заставляет быка стать именно в ту единственную позицию, в которой его возможно убить: нужно, чтобы передние ноги быка были вместе, а голова наклонена к земле. Чтобы заставить быка наклонить голову, он проведет перед его глазами красным плащом сверху вниз и бык тупо уставится на мулетту, лежащую на земле, подставляя под удар то небольшое и незащищенное место на его шее, размером в медный пятак, куда может свободно проникнуть шпага. Матадор с быстротой молнии бросается на быка и вонзает в него шпагу... Не думайте, что это так просто. В злополучный день мадридской корриды ни один из «новилладос» не оказался на высоте. Клинок попадал всё не

в те места, застревал в костях или в коже, бык мотал головой и шпага вылетала. И под свист толпы матадор с виноватым видом вновь занимал нужную позицию, снова устремлялся на рога животного, чтобы попасть в нужное место, — и так два, три и даже четыре раза, пока, наконец, сталь не уходила по самую рукоятку в тушу быка. И даже после этого торо не всегда падал, как сраженный. Если артерия внутри не была перерезана, он стоял, не понимая, что с ним произошло. Вся «куадрилья» выбегала на арену, заставляя умирающего быка бросаться на плащи, делать резкие повороты в каком-то сумасшедшем круговерчении, пока он, наконец, не падал на подкошенные передние ноги. И если бык не соглашался и после этого умереть, хотя кровь лилась из его пасти, к нему подходил один из пеонов и сбоку, вороватым ударом кинжала, перерезывал аорту, вызывая мгновенную смерть.

Свист, аплодисменты, подушки. Матадор, не очень гордый своей победой, уже шел к трибуне раскланиваться, а мулы с бубенцами волокли тем временем окровавленную тушу с арены. Матадора освистали, но бык оказался бравым и его туше публика дружно аплодировала. Очень плохая была в этот день коррида: матадоры не умели убивать и ни один из них не удостоился ни уха, ни хвоста торо.

После пятого убоя я не выдержал, встал и начал пробираться к выходу. Сопровождавший меня испанец-гид остолбенел и не мог понять, — как можно

уйти с такого волнующего и удивительного зрелища? В течение последующих дней он со мной не разговаривал. А я на два дня стал вегетарианцем и упорно отказывался в ресторане от бифштексов и антрекотов. Перед моими глазами всё еще стоял окровавленный, ничего не понимавший торо.

ТОЛЕДО

. . .Королем же был Дон Педро
С прибавлением Жестокий.
Г. Гейне («Турнир»)

АВТОКАР был дальнего следования: Мадрид — Толедо — Кордова — Севилья — Гранада — Гибралтар — Малага, снова Мадрид, — всё это в девять дней и всё за очень дешевую по американским понятиям цену. Транспорт, первоклассные отели, завтраки, обеды и ужины, посещения музеев, гиды — всё это обходилось в сто сорок два доллара с человека. Почему-то я всегда относился с предубеждением к групповым поездкам туристических обществ. Но для иностранца, не знающего языка страны, не желающего терять времени на поиски комнаты в незнакомом городе, это — единственный и, конечно, самый экономный способ путешествия. Испанское туристическое общество «Атесса» организовало поездку по Андалузии безукоризненно, — воздадим ему должное.

В автокаре встретились два десятка разношерстных людей разных национальностей. На девять дней судьбы наши были связаны. Мы должны были сидеть рядом, угощать друг друга конфетами, вместе есть

и пить, рассматривать фотографии чужих внуков, вместе ахать и восхищаться...

Были три миловидные учительницы из Техаса, преподающие в средних школах испанский язык. Приехали они на стипендию Фулбрайта, пробыли несколько недель на специальных курсах в Бургосе и теперь заканчивали свое путешествие знакомством с испанским Югом. Говорят, американцы не очень способны к иностранным языкам. Но учительницы отлично говорили по-испански.

Были три французские семейные пары, люди солидные, смотревшие на всё немного свысока: при свойственном французам чувстве собственного превосходства учиться им у испанцев было нечему... Были и ньюиоркцы, т. е. люди с итальянскими, немецкими и русскими фамилиями и неопределенными акцентами американцев первого поколения. Связующим звеном между всеми пассажирами оказался гид, одинаково плохо говоривший на всех языках, но преисполненный желания «продать Испанию» туристам и показать им былое величие и красоты своей страны.

Автокар двинулся в путь ранним летним утром, по холодку. От Мадрида до Толедо всего шестьдесят километров, и наш шофер Мигэль, не торопясь, покрыл это расстояние в два часа. Вокруг, куда хватал глаз, лежали возделанные поля, оливковые рощи, виноградники, красная, распаханная земля. Деревень мало, но на дороге всё время попадались разукрашенные ослики, на которых сидели верхом или боком крестьяне. В испанской деревне мулы и ослики еще и теперь

едва ли не единственный способ передвижения. На них перевозят все тяжести: дрова, хворост, корзины с землей и камнями, мешки с удобрением, воду. Ослики осторожно перебирают своими деликатными копытцами и только подергивают ушами. Крестьянин-кампесино идет сбоку, хлопает ладонью по бокам навьюченного животного и покрикивает:

— Бурро, аррэ! Осел, иди!

А вот другая картина. Большое голое место, степь, колючий кустарник и отара овец, пасущаяся на этой скудной земле. И посреди отары, под палящим солнцем, застыл пастух в каких-то живописных тряпках, в широкой соломенной шляпе, — чем-то библейским веет от этой фигуры с длинным посохом.

— Глядите вперед, — объявляет гид, — уже виден Альказар.

Вдали, на высокой скале, появляется сказочный город, окруженный средневековыми стенами и увенчанный Альказаром. С этой крепостью связаны трагические страницы испанской истории.

*

Чтобы попасть в город, надо проехать каменный мост римских времен, перекинутый через мелководную реку Тахо, которая подковой с трех сторон огибает Толедо. Автокар втискивается в узкие улочки и сразу застревает, — строители города две тысячи лет тому назад явно не предвидели грядущей эпохи автомобилизма. Мигэль отчаянно крутит руль направо, налево, автокар упирается в стену дома, отвалива-

ет, слегка поворачивает и снова застревает. И уже какие-то старики тычут палками и что-то кричат Мигэлю, дают советы, и со всех сторон на подмогу сбегаются мальчишки. После пятиминутных сложных маневров и многократных упоминаний имени небесной покровительницы города, мы благополучно выбираемся из тупика, поднимаемся всё выше и, наконец, останавливаемся у подножья Альказара, где расположен «Отель Карла V». Отсюда открывается прекрасный вид на кастильское плато и на холмы, окружающие город. Когда-то, еще лет сто назад, на этих холмах скрывалось множество разбойников, «гораздо больше, чем в Сиерра Морено и в Сиерра Невада», с гордостью сообщает местный гид. Теперь по холмам свободно гуляет лишь горячий ветер «солано», знойное дыхание Африки.

Осматривать Толедо можно только пешком, — улицы города так узки, что никакой экипаж здесь не проедет. Перепрыгивая с булыжника на булыжник, пешеход проникает в сложный лабиринт, который выводит к замечательной сторожевой башне Пуэрта дель Соль, во времена Инквизиции превращенной в городскую тюрьму. Сразу же за этими воротами раскладывали костры, на которых в средние века сжигали еретиков, а позже «маранов» (новообращенных евреев), «тайно исповедывавших иудейскую религию».

Костер, обычно, раскладывали один для всех сжигаемых. Был он, по свидетельству летописца «шестидесяти футов в окружности и высотой в семь, и поднимались к нему по лестнице, сооруженной с таким

расчетом, чтобы на равном расстоянии друг от друга можно было водрузить столбы и в то же время беспрепятственно отправлять правосудие, оставив соответствующее место, дабы священнослужители могли без затруднения пребывать при всех осужденных»...

В былые дни на Пуэрта дель Соль и на главной городской площади Соковер, где теперь туристы, отдыхая на террасах кафэ, мирно пишут открытки, сжигали одновременно по несколько десятков человек... Но в Толедо есть место еще более страшное — дом, где помещалась св. Эрмандада и где жил Великий Инквизитор. Над воротами здания одно единственное окно, закованное в толстейшую решетку. В этом доме, кажется, теперь устроили гостиницу. Не знаю, как чувствуют себя туристы в комнатах-застенках, где людей пытали замаскированные палачи, где черные судьи вели допрос в подземельях, при свете дымных факелов, и откуда несчастных прямо отправляли на казнь в одеянии смертника, с колпаком на голове и с зеленой свечой в руке... Какая теперь тишина на улицах Толедо! Местный гид долго объяснял, что это — особенный, мистический город, со своими древними традициями и суровыми нравами. Здесь до сих пор не разрешаются балы, танцевальные вечера и театральные представления и только в виде большой уступки епископ разрешил кинематограф...

Это город-музей. Жизнь в Толедо течет медленно, как вода в Тахо, под мостом св. Мартина. Время измеряется не годами, а столетиями. В крепости, сооруженной на вершине холма римлянами, побывали и

вестготы, и мавры, и солдаты «католических королей» Фердинанда и Изабеллы. После освобождения Испании от мавров королевская казна была пуста. В стране царил голод. Чтобы снабдить Колумба в его заморскую экспедицию, которая должна была принести Испании богатства, королева Изабелла отдала мореплавателю свои личные драгоценности, — денег у нее не было. И в этом же 1492 году деньги нашлись. По совету Инквизиции, из Испании на вечные времена были изгнаны евреи, а всё их имущество и богатства поступили в королевскую казну.

*

В конце пятнадцатого столетия евреи играли в Испании роль исключительную не только в области экономической, но и культурной. Еврейским негоциантам принадлежали корабли, которые вывозили заграницу оливковое масло и вино и доставляли в Испанию из Средиземноморских портов ценные товары, произведения искусства, ткани, слоновую кость и меха. Из Персии они получали яркие ковры, из Африки — эссенции. Жемчуг и самоцветные камни шли из Индии, шелк из Дамаска и пряности из Цейлона. Еврейские философы и ученые преподавали в университетах Толедо, Кордовы и Саламанки. Архитекторы славились во всей Кастилии своим строительным искусством.

В Толедо евреи жили с незапамятных времен, пользуясь всеми правами и почетом. Не они ли дали городу его имя «Толедот»? Слово это на древне-ев-

рейском языке означает «Город поколений». Время от времени их грабили, но это были, так сказать, патриотические контрибуции, которые благодарное еврейское население приносило на алтарь отечества... После смерти короля Педро Жестокого, благоволившего к евреям, в Толедо начались массовые аресты, пытки и насильственное обращение в христианство. Квартал «Юдерия» был обложен контрибуцией в двадцать тысяч золотых дублонов. 1391 год ознаменовался волной еврейских погромов по всей Испании.

В Севилье шестого июля толпа ворвалась в «Юдерию» и перебила четыре тысячи человек. В Кордове убили две тысячи, — это лето было в Испании жарким и кровавым. Гитлер, в сущности, ничего не придумал, — ни специальных нашивок на рукавах, ни запрета выходить из гетто, ни контрибуций, ни поджогов синагог, — всему этому научился он у испанских средневековых изуверов и фанатиков... Когда толедские евреи узнали, что готовится декрет об изгнании, они пытались откупиться. Алчный Фердинанд заколебался: кто заменит врачей, ученых, строителей? Торквемада, бывший тогда Великим Инквизитором, спросил короля:

— Разве ты, как Иуда, хочешь вновь продать Христа за деньги?

Судьба громадной общины в Толедо и множества евреев в других испанских городах была решена. Декретом 31 марта 1492 года евреям предписывалось покинуть пределы страны до конца июля.

Сколько же человек было изгнано тогда из Испании? По самым осторожным данным «Еврейской Энциклопедии» не меньше 235.000, из которых 50.000 были обращены в христианство и стали «маранами», а 20.000 погибли во время исхода от чумы, других болезней, голода и жажды. Здесь не место подробно рассказывать об исходе евреев из Испании. Это трагическое событие в достаточной степени изучено, и историки сходятся на том, что Испания никогда не оправилась от последствий этого изуверского акта. Именно со времени изгнания мавров, которые принесли Испании высокую культуру, а затем изгнания евреев началось моральное, политическое, культурное и экономическое падение, от которого страна никогда не оправилась...

Об одном факте, связанном с исходом я хочу, всё-таки, напомнить. Евреям было запрещено вывозить золото, серебро и вообще ценные вещи. Уходя, они взяли с собой только железные ключи от домов, которые им принадлежали, и которые у них теперь отнимали. До сих пор в семьях «сефардов», живущих на Юго-Западе Франции, можно видеть эти старые ключи, переходящие из поколения в поколение, — символ того, что испанские евреи не примирились с совершенным над ними насилием и несправедливостью.

*

В Толедо было, вероятно, множество мечетей и синагог. Кастильские завоеватели — конквистадоры прежде всего разрушали замечательные храмы, остав-

ленные «неверными». В Толедо нет теперь ни одной мечети. Чудом сохранились только две синагоги, да и то потому, что завоеватели превратили их в католические церкви.

Главная Синагога, выстроенная в конце двенадцатого столетия, была отнята у евреев еще в 1405 году, за восемьдесят семь лет до их изгнания. В день субботний толпа фанатиков, возбужденная проповедником Винсентом Ферером, ворвалась в синагогу во время чтения Торы. Евреев сбрасывали со скалы в реку, множество верующих погибли на месте. Тут же, среди окровавленных трупов, наскоро был воздвигнут алтарь, у которого брат Винсент отслужил первую мессу.

Главная Синагога была переименована в церковь св. Марии Белокаменной — вероятно потому, что внутри ее двадцать четыре колонны сделаны из белоснежного алебастра. Колонны эти соединены между собой изящными арками в мавританском стиле. Над сооружением Главной Синагоги трудились не только лучшие еврейские, но и арабские мастера. Весь стиль храма выдержан в удивительном, смешанном арабо-еврейском стиле той эпохи. Постепенно, внутренность храма подвергалась изменениям. В середине пятнадцатого столетия кардинал Силисео воздвиг главный алтарь у восточной стены, где раньше был амвон и хранились свитки Торы. При этом уничтожили позолоту стен, редчайшие фрески и мозаику. Потом здесь устроили монастырь и убежище для падших женщин. В год Великой Французской Революции мо-

настырь закрыли, а синагогу-церковь превратили в солдатские казармы. Только в 1808 году, во время войны за Независимость, период осквернений кончился. Церковь св. Марии Белокаменной была объявлена историческим памятником и теперь тщательно реставрируется и охраняется. Жители Толедо до сих пор называют ее синагогой.

*

Другая, чудом сохранившаяся синагога, была выстроена на средства Самуила Леви, министра финансов Педро Жестокого. В Главной молился народ; в синагоге Леви молились только его личные друзья, сливки еврейской общины в Толедо. Снаружи храм этот ничем не замечателен, — евреи в Испании уже в те времена не любили обращать на себя внимание улицы. Но трудно представить себе красоту этого здания внутри. Здесь нет мраморных колонн, как в св. Марии Белокаменной. Это — очень пропорционально-продолговатый белый зал длиной в семьдесят восемь и шириной в двадцать восемь футов, с деревянным балконом для молившихся отдельно женщин. Стены покрыты тончайшим каменным кружевом, чудесными восточными рисунками, так напоминающими кружева на севильских мантильях. Над этими фресками трудились мастера, выписанные из Гранады, придавшие всему убранству мавританский стиль. Как прекрасно уживались в те времена в Испании арабы и евреи!

Вдоль стен высечены в алебастре длинные надписи на древне-еврейском языке, в которых строитель храма Самуил Леви прославляет Бога Израиля и воздает дань милостивому королю и своему покровителю Дону Педро.

«Гляди на Святую Святых, освященную в Израиле, и на дом, сооруженный Самуилом и на Башню для чтения Заповедей, данных Господом для просвещения тех, кто ищет совершенства. Сие есть дом Господний...» И вдоль другой стены еще более длинная и витиеватая надпись, начинающаяся так: «Это здание сооружено во времена короля Дона Педро, да поможет Ему Господь! И умножит Его владения, и даст Ему милости, и прославит Его, и возвысит Его над всеми Принцами...»

Милостивый король Дон Педро должным образом отблагодарил своего друга и верного министра финансов. Под каким-то благовидным предлогом он приказал схватить его, подвергнуть пытке, задушить, а тело сжечь на костре. И, сообщает летописец, «верноподданные весьма хвалили короля за его справедливость». Дворец Самуила Леви король подарил маркизам Вильена. После казни Педро Жестокий пожелал посетить дом Леви. В парадном зале он остановился и прочел на мраморной стене надпись:

— Да будет благословен Педро, милостивый и благодушный наш повелитель.

Милостивый и благодушный повелитель вздохнул и сказал:

— Всё же, у этого еврея было прекрасное сердце!

И приказал сопровождавшему его епископу отслужить десять панихид в соборе по новопреставленном рабе Божием Самуиле Леви.

А синагога была превращена в церковь Нуэстра Сеньора дель Трансито и отдана рыцарскому военному ордену Калатравы. Позже здесь были сооружены три алтаря. Главный престол у восточной стены. На него льются потоки света из двух стрельчатых синагогальных окон... Благородных рыцарей Калатравы хоронили тут же, в храме. Сохранились девятнадцать погребальных плит. Надпись на одной из них, в самом центре синагоги, гласит: «Брат дон Педро де Сильва, Командир Ордена, скончался в последний день января 1500 года...». На многих плитах уже трудно разобрать имена.

И эта синагога Трансито подвергалась бесконечным надругательствам, пока в прошлом столетии не сообразили, что она является замечательным историческим и художественным памятником. Теперь здание объявлено «национальным монументом», его постепенно реставрируют и, во всяком случае, тщательно охраняют то, что удалось спасти от вандалов.

Мне показалось, что испанцам не очень-то приятно вспоминать историю изгнания евреев. В синагоге местный гид, дававший объяснения, деликатно выразился:

— Когда в 1492 году евреи *решили* покинуть Толедо...

Я поинтересовался, существуют ли евреи в современной Испании? В Толедо евреев нет, но в Мадриде живут теперь около 5.000 евреев, открыты две синагоги, и есть еще община в Барселоне... А ведь когда-то, до изгнания, в Испании было свыше полумиллиона евреев!

В центре «Юдерии», бывшего еврейского квартала Толедо, сейчас же за Трансито, стоит дом, в котором жил Эль Греко. Особняк замечательный, — несколько жилых комнат, настоящая кухня алхимика, где пищу готовили над очагом. В столовой, украшенной полотном Тинторетто, устроены хоры для музыкантов, игравших во время званых обедов. Но самое интересное, это двор-патио, с деревянной галереей, вдоль всего второго этажа. В саду благоухают розы, множество цветов, и по стенам вьются глицинии и плющ...

Какое спокойствие, умиротворение, тишина, так не вяжущаяся с кровавой историей Толедо! Только на башне соседнего монастыря колокола ровно и медленно отбивают часы, как отбивали они столетия назад, во времена Эль Греко.

ЗАЩИТНИКИ АЛЬКАЗАРА

"For courage mounteth with occasion"

"King John"
Shakespeare

В ТОЛЕДСКОМ отеле «Карлос V» окно моей комнаты выходило в улочку такую узкую, что, казалось, рукой можно было дотянуться до стены дома напротив. По неопытности я даже обрадовался: такая экзотика! В каждом освещенном окне была видна неторопливая жизнь. Женщины что-то стряпали, мыли посуду. Мужчины сидели за железными решетками окон и смотрели, что делается в нашем отеле... Весь день я провел в церквах и музеях, обедал поздно, очень устал. В полночь, добравшись до постели, сразу заснул сном праведника.

Сколько времени я спал? Кажется, очень недолго, всего несколько минут. Первый, блаженный сон был прерван неистовым воплем с улицы:

— Доминго, — кричала женщина истошным голосом. — Доминго!

Со сна, еще плохо соображая, я бросился к окну. Женщину, несомненно, убивали и она звала на по-

мощь своего Доминго... Нет, напрасно я так разволновался: толстая сеньора, высунувшаяся из квартиры третьего этажа, просто что-то кричала своему сынишке, игравшему на улице с другими детьми.

Так началась эта незабываемая ночь. Улица жила нормально и привычно: во всех квартирах играли радио-аппараты, соседи громко переговаривались, рассказывали друг другу новости. Доминго и его юные друзья были, несомненно, потомками тех разбойников, которыми когда-то кишели горы Гвадарамы. Таких громких и хриплых голосов пропоиц, которыми обладали эти детки, я еще никогда не слышал ни в Старом, ни в Новом Свете. Из углового трактира доносились голоса их родителей, старавшихся перекричать друг друга. В узкой улице каждое сказанное слово гремело, как в горном ущелье.

Прошел час, другой. Нельзя было и думать о сне. Доминго и его друзья устроили нечто вроде фиесты, ритмично хлопали в ладоши и пели хором. Наконец, знакомая уже мне сеньора начала приглашать своего малютку спать, «вете а дормир», при чем с каждым приглашением фразы удлинялись, а голос становился всё более и более грозным... Не знаю, в котором часу кончилась вальпургиева ночь пятилетних битников, но я заснул только около трех утра. И сейчас же, в ту самую минуту, когда я закрыл глаза, запели петухи.

Боже, сколько петухов в Толедо! Они перекликались со всех дворов, горланили, словно предупреждая город о какой-то страшной опасности, о нашествии

римлян или вестготов... Немного позже, когда уже совсем рассвело, внизу заиграл рожок. Любопытство взяло верх. Я встал и посмотрел, что делается на улице. Оказывается, пришли мусорщики. Один играл на рожке, а другой лениво волочил за собой по земле корзину. Хозяйки, должно быть притаившиеся за воротами и только ждавшие сигнального рожка, уже выставляли ящики, коробки и кульки с мусором. Затем женщины все вместе, хором, принялись ругать мусорщиков, которые набросали на улице и не желали подмести.

Вероятно, по здешним понятиям это был очень мирный, деловой разговор, но мне показалось, что еще минута — появятся ножи и прольется кровь... Спать уже не хотелось. Я оделся и отправился на площадь Соковер в надежде, что там можно будет выпить кофе. Кафе было еще закрыто, хотя жизнь в городе уже началась, — петухи сделали свое дело. Появились ослики с крестьянами, ехавшими на базар. Открылся газетный киоск, пришел торговец лотерейными билетами. Во всех магазинах этой площади продавался одинаковый товар: кинжалы, рапиры, шпаги, которыми славится Толедо, кожаные изделия с арабским тиснением золотом, какие-то браслеты и серьги с дамасской чернью. И опять кинжалы, и снова бумажники, ночные туфли и шпаги.

Днем мы осматривали одну из фабрик шпаг и кинжалов. Еще издали из мастерских доносились звонкие удары молотков по металлу. Эти звуки раздаются в Толедо с римских времен: мастера превра-

щают раскаленную сталь в острые клинки и кривые ятаганы, а затем опускают их в бочки с водой из Тахо. Вода эта, якобы, обладает способностью как-то особенно закалять сталь. Толедские шпаги — лучшие в мире, и недаром в старину говорили, что в Толедо, уже из утробы матери, выходят с ножами.

Из мастерской попали мы в собор, который строился чуть ли не три столетия и в результате оказался смешением разных стилей и эпох — чистой готики тринадцатого столетия, Ренессанса и мавританского стиля. Одни ворота готические; другие, заказанные в пятнадцатом столетии кардиналом Мендоза в стиле Возрождения, и есть еще ворота нео-классические... Каждый собор в Испании — прежде всего музей. В толедском показывают туристам полотна Эль Греко, мраморную гробницу кардинала Мендозы, какие-то необыкновенные дубовые и резные «силлерии», т. е. сидения для духовенства в ризнице и кованую железную решетку, сделанную лучшими мастерами города. В другой церкви св. Фомы висит одна из известнейших картин Греко «Погребение графа Оргаца», на которой, среди толеданской знати того времени, художник изобразил и самого себя. Граф Оргац похоронен в той самой церковной стене, на которой висит полотно Эль Греко.

Но особенно гордятся в Толедо «Кустодией», т. е. Дароносицей, которую выносят из собора только раз в год, в торжественной процессии в праздник Тела Христова. Это — шедевр мастера Энрико де Арфе, сооружение из золота и серебра, весом в двести семь-

десят пять фунтов, — напоминающее готическую церковную башню, поднимающуюся к небу. На выделку этой Дароносицы ушло первое золото, привезенное Христофором Колумбом из Америки. Из поколения в поколение верующие отдавали на украшение толедского собора свои сокровища: алмазы для митры кардинала-примата Испании, шитые золотом тяжелые ризы, бесценные кубки, часословы, над которыми трудились искусные художники, лампады, украшенные самоцветными камнями.

Сколько раз потом в Испании приходилось видеть эти неслыханные сокровища, накопленные церковью на протяжении веков, и рядом с этим богатством, сейчас же за воротами соборов — страшнейшую нищету и голодных людей. Испания — страна отлично уживающихся контрастов. Богатство и нищета, фанатическая религиозность и жестокость... И не даром в соборе Толедо, среди королевской роскоши и великолепных мраморных мавзолеев, — тоже как некий контраст — безымянная плита над могилой кардинала, который приказал выгравировать такую эпитафию: «Здесь покоится прах, пыль и больше ничего».

*

Альказар, разрушенный во время гражданской войны, теперь почти полностью восстановлен. Это громадная и довольно уродливая крепость, доминирующая над Толедо и над всей долиной реки Тахо. Начало положил Альфонс Шестой в 1085 году, а за-

тем Альказар перестроил Карлос Пятый. В этой крепости, как и в очень схожем по конструкции дворце Эскуриал под Мадридом, выражен весь дух Кастилии, — суровый, неприступный, горделивый. Простота прямых линий, отсутствие украшений. Здесь нет ничего от арабского влияния и восточной роскоши. Сколько раз Альказар горел за свою почти тысячелетнюю историю? В 1710 году его сожгли португальцы, сто лет спустя — солдаты маршала Сульта. Альказар горел и в начале нашего века, но его отстроили. Когда началась гражданская война, в крепости помещалось военное училище, комендантом которого был полковник Москардо.

Летом 1936 года в Толедо начался красный террор. Происходили массовые аресты, людей расстреливали у стены дома Эль Греко. Прошел слух, что мятежный генерал Франко высадился где-то на Юге с марокканскими частями и Иностранным Легионом и начал гражданскую войну. И двадцать четвертого июля, совершенно для всех неожиданно, над Альказаром франкистами был поднят националистический флаг. Так начался самый фантастический эпизод испанской гражданской войны, непревзойденный по героизму, показавший всему миру подлинный облик Испании.

Полковник Москардо заперся в крепости вместе с солдатами гражданской гвардии. Время было летнее, ученики школы разъехались на каникулы, и Москардо удалось собрать только семерых кадет, случайно оказавшихся в это время в Толедо. Всего в крепости забаррикадировалось 1.100 человек, способных

носить оружие, да кроме бойцов в глубоких подземельях разместили несколько сот женщин и детей, пришедших в крепость с мужьями, искать убежища.

Население Альказара во время осады составляло 1.996 человек. Военного снаряжения и аммуниции было достаточно, так как заговорщики захватили большой военный транспорт с оружием, предназначавшийся для Мадрида. Но с первых же дней выяснилось, что с продовольствием дело обстоит плохо. Хлеб кончился на четвертый день, картофеля хватило лишь на одну неделю. Молоко, разбавленное водой, выдавали только детям и раненым. В крепости было сто семьдесят семь лошадей. В самом начале на питание гарнизона и беженцев ежедневно убивали четырех лошадей, потом трех, к концу осады только двух. Спас защитников Альказара случай: какой-то крестьянин пробрался ночью в крепость и сказал, что знает место, за пределами укреплений, где местным земельным банком были сложены громадные запасы зерна.

В ту же ночь была организована вылазка. Крестьянин сказал правду. К утру в крепость перенесли две тысячи мешков зерна, и призрак голода больше не грозил защитникам... Началась длительная осада. В течение шестидесяти семи дней и ночей крепость подвергалась непрерывным бомбардировкам. Обстрел шел одновременно из тяжелых орудий и с воздуха. Были дни, когда на крепость сбрасывали с самолетов по четыреста-пятьсот бомб весом в пятьдесят кило каждая. После первых же бомбардировок стены превратились в груды развалин и угловые квадратные баш-

ни были разбиты. Но даже эти развалины являлись прекрасными укреплениями.

В глубоких подземельях и галереях «сотанос» были устроены бастионы, склады продовольствия, военного снаряжения и дортуары, в которых солдаты спали вповалку, на каменном полу. Кадетские постели и тюфяки получили только женщины, дети и раненые. В сводчатом подземельи помещался всегда переполненный лазарет. Людей оперировали без хлороформа и почти без медикаментов, на столе, сколоченном из некрашенных досок. Три врача, оказавшиеся в крепости, буквально валились с ног: почти шестьдесят процентов защитников Альказара были убиты или ранены. Мертвых не хоронили, — их тела закладывали кирпичами в отдаленном коридоре.

Несколько раз из Толедо приходил ультиматум: немедленно сложить оружие и капитулировать. Защитникам крепости доказывали всю безрассудность их героизма, вызывавшего уважение даже у противников. Франко далеко, помощи ждать неоткуда. Не лучше ли выпустить женщин и детей, а затем отдать себя в руки правосудия? Двадцать третьего июля из Толедо позвонил в Альказар начальник народной милиции Кандидо Кабелло, потребовавший к проводу полковника Москардо, — каким-то чудом телефонная линия действовала, но ее контролировало Толедо. Кабелло сказал, что если через десять минут крепость не капитулирует, двадцатитрехлетний сын полковника Москардо, арестованный с матерью и младшим братом в окрестностях города, будет расстрелян.

— Чтобы вы не сомневались, что это правда, — добавил Кабелло, — вы сейчас будете говорить с вашим сыном.

Полковник Москардо услышал знакомый ему голос, сказавший только одно слово:

— Папа...

— Что с тобой, сын?

— Ничего... Они говорят, что расстреляют меня, если Альказар не капитулирует.

— Если этому суждено случиться, поручи свою душу Господу, закричи «Вива Эспанья» и умри, как герой, — ответил Москардо. — Прощай, сын! Целу́ю тебя.

— Прощай отец. Целую тебя.

Кабелло взял трубку. Москардо сказал:

— Можете не ждать. Альказар никогда не капитулирует!

Сын Москардо прожил еще месяц. Его расстреляли только двадцать третьего августа.

*

И вот я брожу теперь по подземельям Альказара, в которых отсиживались в течение шестидесяти семи дней его защитники. Крепость превращена в музей и в памятник Моска́рдо и его соратникам.

Безногий инвалид показывает, где помещалась пекарня. Хлеб пекли из зерна, кое-как размолотого на каменном жернове, который приводился в движение мотором мотоциклетки. Вот подземелье женщин и детей. Во время осады в этом темном погребе роди-

лось двое детей и их крестил священник, которого красные прислали из города.

Коммунисты сжигали церкви и из сорока арестованных в Толедо священников расстреляли тридцать, но отказать осажденным в религиозном напутствии они не могли, — это было бы не по-испански. К тому же, священник принадлежал, если можно так выразиться, к «сменовеховцам» — он усиленно советовал капитулировать, но мессу отслужил и детей крестил... Это — тоже испанский контраст, но вот нечто лучшее: где-то я читал, что в начале столетия, во время восстания в Мадриде, анархисты поднялись на баррикады с церковной хоругвью «Нуэстры Сеньоры», покровительницы города, — анархические убеждения как-то уживались у них с верой в Богоматерь. Всё это нам не совсем понятно, но испанцев нисколько не удивляет.

«Кабинет» полк. Москардо — крошечная комнатка, похожая на монашескую келью, с колченогим столиком, железной кроватью и с матрацом, набитым соломой. В соседнем помещении заседал штаб. Во время одного такого заседания в комнате разорвался снаряд, — несколько командиров выбыли из строя. С самого начала осады электричества в крепости, конечно, не было. Освещались коптилками, так памятными нам по первым годам нашей революции. В витринах устроенного здесь музея разложены листы гектографированного бюллетеня, который печатался каждый день и содержал сводку «с фронта». Тут же образцы хлеба, вроде кирпича, которым питались за-

щитники, и кое-какие медикаменты, — больше иод, аспирин и бинты из тряпок. В подземной церкви деревянная, по-испански раскрашенная статуя Богоматери, у которой молились осажденные. Посреди церкви могильная плита Москардо. Он прожил после осады еще 20 лет и умер в пятьдесят шестом году. Рядом — могила его расстрелянного сына.

В подземельях темно, сыро. Только изредка из каких-то бойниц в стенах или в потолке льются лучи солнечного света. В некоторые проходы войти нельзя, — там еще развалины.

*

Бомбардировали крепость непрерывно, в нее были выпущены десятки тысяч снарядов, — образцы их лежат теперь в музее, рядом с ржавыми, устаревшими пулеметами. После очередной бомбардировки начинался штурм. Республиканское командование было убеждено, что в Альказаре оставалась ничтожная горсточка защитников. Но когда цепи атакующих подходили на сорок ярдов к крепости, из развалин начинали бить пулеметы и летели ручные гранаты. Атакующие отходили, унося с собой убитых и раненых.

Двадцать второго августа произошло событие, преисполнившее души осажденных радостью и надеждой. Низко над развалинами Альказара пролетел бомбовоз, из которого был сброшен пакет. В пакете оказалось несколько банок конденсированного молока и письмо Франко. Генерал поздравлял защитников и сообщал им, что крепость скоро будет освобождена,

— армия националистов движется с Юга в сторону Толедо.

Два дня спустя, двадцать четвертого августа, осажденные услышали под землей странный гул. Начали прислушиваться. Сомнений быть не могло, — под крепость вели подкоп! День и ночь грохотали пневматические сверла, прорезавшие туннель в скале. Из города сообщили, что туннель пробивают шахтеры Астурии, и что если Альказар не капитулирует, вся крепость с его защитниками взлетит на воздух.

Бомбардировка не прекращалась. Теперь республиканцы установили гигантские прожекторы, всю ночь освещавшие стены Альказара, чтобы предупредить попытку вылазки. По гулу машин можно было определить, куда именно идет подкоп. Туннель вели в двух направлениях и эти части крепости были заранее эвакуированы.

Ночью семнадцатого сентября звук пневматических сверл прекратился. Наступила тишина. На рассвете раздался взрыв. Юго-Западная башня Альказара взлетела со страшным грохотом на высоту трехсот футов и рухнула градом камней по склонам горы. Над крепостью поднялись облака черного дыма... Но уже республиканцы шли в атаку с трех сторон, с севера, запада и с юга. Первой колонне атакующих удалось войти в крепость. Тут их встретили ураганным огнем. И эта решительная атака была отбита.

Дело приближалось к развязке. Всё чаще пролетали над крепостью самолеты франкистов. Единственное ручное радио в Альказаре принимало отры-

вочные сведения, по которым можно было судить о быстром продвижении армии Франко в сторону Толедо. Наконец, в воскресенье двадцать седьмого сентября, на шестьдесят седьмой день осады, из Альказара увидели, что на позициях снимают артиллерию и эвакуируют ее из города. Несколько часов спустя у крепости появились передовые части Иностранного Легиона.

Свои, или очередная хитрость, попытка захватить Альказар при помощи переодетых солдат?

Нет, это был авангард националистической армии. В Альказар вошел командир передовой колонны. Полковник Москардо появился из-за груды развалин, отдал честь и спокойно отрапортовал:

— Mi general, no hay novedad!

т. е. ничего существенного для доклада нет... Так кончилась необычайная эпопея гражданской войны, которая войдет в испанскую историю на вечные времена.

Одна из молодых учительниц-американок, принимавшая участие в поездке, вечером сказала мне в ресторане:

— Ничто в Испании не произвело на меня такого впечатления, как Алькатрас!

Это правда, сударыня. Вы ошиблись только в одном: Алькатрас — название тюрьмы для опасных преступников на острове, в бухте Сан Франциско. А мы были в Альказаре... Но ничего этого я не сказал, чтобы не смущать мою прелестную спутницу.

В СТРАНЕ ДОН КИХОТА

«Осторожнее, Ваша Милость, это не гиганты, а ветряные мельницы»
«Дон Кихот» *Сервантес*

ДОН КИХОТ пленил мою душу в детстве. Позже появились другие герои — Робинзон Крузо, Д'Артаньян, веселый Паганель и загадочный капитан Немо. Но никто из них не мог затмить Рыцаря Печального Образа. И уже тогда мечтал я поехать в в Испанию, в провинцию Ла Манча, в те места, где жил и сражался с ветряными мельницами последний испанский гидальго... Мечте этой суждено было осуществиться лишь полвека спустя. И вот теперь, в окне автокара, раскрывается передо мной обездоленная земля Ла Манча, сухая, как кожа змеи. Толедо и его Альказар остались позади. По этой выжженной солнцем степи бродит призрак Дон Кихота с медным тазиком на голове, вместо шлема, в латах, с тяжелым копьем. За тощим Россинантом с трудом поспевает на муле всегда голодный Санчо Панчо. В каждом испанце есть что-то от Дон Кихота. Не потому ли Испания так же отстала от современности, как и герой Сервантеса, мечтавший о рыцарстве в век, когда рыцарей больше не было?

Солнце так слепит, что лучше закрыть глаза и подремать... В этих местах, совсем близко, городок Тобоза, где жила несравненная Дульцинея. Тобоза останется в стороне, и мы не увидим домика разбитной крестьянки Анны Мартинец де Моралес, которая послужила, якобы, прототипом Дульцинеи. Неподалеку отсюда город Аргамасилья, — там по роману жил и умер славный гидальго. Дом в Аргамасилье, в котором останавливался Сервантес, теперь превращен в музей. В нем собраны издания на всех языках похождений «Хитроумного гидальго Дон Кихота Ламанчского». В России первое издание книги Сервантеса вышло в 1769 году под названием «Неслыханный чудодей или удивительные и необычайные приключения странствующего рыцаря Дон Кишота».

Не на этой ли ухабистой дороге произошла встреча рыцаря с каретой похищенных принцесс и дуэль с проклятым бискайцем, который отрубил Дон Кихоту половину уха в страшном и неравном бою?.. Должно быть, с начала семнадцатого столетия дорогу, по которой мы ехали, чинили не часто. Автокар подбрасывает на бугре, я открываю глаза и думаю, что сон продолжается: на ближайшем холме машет крыльями белая ветряная мельница — такая самая, с какой сражался Дон Кихот. Нет, это не мое воображение: вот еще одна мельница, и еще... Как много в Ла Манче чудовищных гигантов, превращенных в мельницы! Появляется и Санчо Панчо. Он едет по тропинке в сторону ветряка, верхом на муле, толстый, коротконогий, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. И,

верно, крепко пахнет чесноком. Замечательно, что в Ла Манче Дон Кихот и Санчо Панчо — не литературные образы, а живые люди. Все здесь верят, что гидальго в действительности существовал. В каждом городе покажут вам его потомков и нет такого придорожного трактира, где бы не останавливался во время странствований Дон Кихот и его лукавый оруженосец.

Перед отъездом в Испанию я перечел необычайные приключения Дон Кихота. Сервантес написал лучшую книгу своей жизни, когда ему было уже пятьдесят восемь лет, да и то, вероятно, потому, что в севильской тюрьме, где он сидел за участие в довольно темной денежной операции банкира Симона де Лима, ему решительно нечего было делать. В тюрьме Сервантес сидел много раз, — жизнь его была полна опасных приключений и неудач. Он участвовал в морской битве с турками в Лепанто, на борту каравеллы «Маркиза», трижды был ранен выстрелами из аркебузов и левая рука его навсегда осталась парализованной, «для большей славы правой руки», как впоследствии говорил сам Сервантес.

После четырехлетней службы в Африке он ушел из армии и отправился домой, в Испанию. Неподалеку от Марселя пираты захватили судно, привезли Сервантеса в Алжир в цепях, и пять лет он провел в рабстве у Гассан Паши. Несколько раз пытался бежать из плена и всякий раз неудачно. В конце концов, в 1580 году Сервантеса выкупили за триста дукатов. Что он делал все последующие годы, до появления Дон Кихота? Писал стихи и прозу, — не особенно

удачную, вечно нуждался в деньгах, женился на дочери бедного дворянина и стал, наконец, сборщиком податей в Ла Манче и Андалузии. Так как денег у крестьян не было, он забирал у них для Великой Армады оливковое масло и зерно. Неосторожно забрал он даже зерно, принадлежавшее севильскому кардиналу, — сборщика податей за это отлучили от церкви... Во время своих блужданий по дорогам Ла Манча и Андалузии, питаясь в трактирах, ночуя на постоялых дворах, Сервантес видел бесконечное множество людей, которых он вывел затем в своем романе.

Дважды он сидел в тюрьме, как соучастник мошеннической финансовой операции и, кажется, совершенно зря, у него были все расписки и документы, — почему-то Сервантес отказался предъявить их суду. В 1605 году его снова бросили в темницу, на этот раз по обвинению в убийстве гидальго, которого нашли умирающим на улице, перед домом Сервантеса. Грудь гидальго была пронзена шпагой. Раненый отказался перед смертью назвать имя человека, с которым он дрался на дуэли под покровом севильской ночи. Подозрение пало на Сервантеса, хотя все в городе отлично знали имя убийцы, мстившего за свою поруганную семейную честь... Первый том «Дон Кихота» появился в 1607 году, второй только семь лет спустя. Слава пришла к Сервантесу слишком поздно, а деньги так никогда и не пришли: издатели и в те времена не отличались особой тароватостью.

Перед смертью он постригся в монахи, облачил-

ся в рясу ордена францисканцев и так, в монашеском одеянии, автор «Дон Кихота Ламанчского» был похоронен в Мадриде, в безымянной могиле бедняков.

Надписи на могиле не сделали и обнаружить ее никогда не удалось.

*

Дорога на Кордову ведет через каменистые равнины и холмы Ла Манча. Дальше, к Югу, пейзаж быстро меняется. Вместо виноградников Кастилии — оливковые рощи. Провинция Кордовы — центр оливковой промышленности Испании.

Местность становится гористой, начинаются отроги Сиерры Морены. Наш шофер Мигэль больше не шутит и не разговаривает с пассажирами: дорога идет зигзагами, петлями, и надо следить, чтобы машина не слетела в пропасть. Исчезают постепенно приземистые оливковые деревья с искривленными стволами, появляются ели и сосны, а потом скалы, голая земля, нагромождение камней... Добрый час продолжается подъем. Становится прохладно. С далеких, снеговых вершин тянет холодным ветром.

Но, внезапно, за поворотом, открывается внизу зеленая долина и начинается спуск. Вот она — Андалузия! Вдоль дороги уже гигантские кактусы с колючими плодами и желтыми цветами. Отсюда начинаются счастливые места. Повеселевший гид мне говорит:

— В Кордове вы увидите самых красивых женщин в Испании. У нас есть поговорка: бери лошадь из Иемена, муллу из Мекки и женщину из Кордовы...

Лошадь и мулла мне не нужны, но на красивых женщин поглядеть всегда приятно. До города, однако, еще далеко. Пока видны лишь оливковые рощи, поля и убогие хижины сезонных рабочих, живущих под соломенными навесами. До механизации в этих местах далеко. Пашут на рогатом скоте, а зерно молотят так: по набросанным снопам ходят кругом ослики, запряженные в некое подобие санок, поднимая столбы золотой пыли. Места эти называются «сковородкой Испании» и даже у осликов головы завернуты в тряпки, чтобы спасти их от теплового удара. Время от времени попадаются и заброшенные деревни «деспобладос». Земля, главное богатство Андалузии, не может здесь прокормить человека.

Триста километров за день по плохим испанским дорогам — не малый перегон. Все в автокаре с облегчением вздыхают, когда появляется, наконец, Кордова.

Въезд в город через сторожевую квадратную башню римских времен и величественный каменный мост, переброшенный над жалкой, мелководной рекой. Неужели это и есть Гвадалквивир, по-арабски — Гуад Эль Кебир, «Большая Река»? Сколько раз слышали мы пушкинские строфы:

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит,
Гвадалквивир.

Какое разочарование... Гвадалквивир не шумит и не

бежит, а очень лениво течет, огибая песчаные мели. Воды в реке так мало, что ослики переходят ее вброд, иногда при этом ложатся и с наслаждением купаются. Во времена владычества римлян по Гвадалквивиру поднимались галеры до самой Кордовы. Теперь река открыта для навигации только около Севильи, а дальше она мелеет и постепенно заносится песками.

В первый момент Кордова не производит особого впечатления. Большой, довольно шумный торговый город. Отели, кафэ, магазины. Но если уйти с площади Гран Капитан в большие аллеи, усаженные пальмовыми деревьями, с которых свешиваются тяжелые гроздья фиников, если свернуть в боковые улицы с голыми стенами домов, за которыми скрыты удивительные патио или подняться к мечети — вы почувствуете тайну Кордовы и какую-то особенную восточную ее атмосферу.

Во времена арабского владычества в Кордове было двести тысяч домов, множество дворцов и триста мечетей. Университет Кордовы привлекал ученых со всех концов Европы. Калифы Кордовы гордились своим знанием алгебры. Абдурахман III приходил в гости беседовать к еврею Бен Иошуа. Нигде в мире поэты не пользовались таким почетом. Халиф платил Ибн Сауду за каждую строку его поэмы по алмазу. Впрочем, в те времена поэтов почитали во всех городах Испании. Когда Рахман Эддин приехал в Севилью, калиф встретил поэта у ворот города с пышной свитой и проводил его к себе в Альказар. У входа калиф поддержал стремя и помог Рахман Эддину сой-

ти с лошади. Все были изумлены подобной честью, но калиф объяснил:

— Поэт — избранник Божий. Мы живем в его песнях. Он или дает нам бессмертие, или отнимает его.

Кордова была городом высокой культуры, в котором собрали всё лучшее, что мог дать Восток. Не удивительно, что именно здесь в восьмом веке калифы задумали построить мечеть неслыханных размеров и красоты.

Тысячи колонн из цветного мрамора, оникса, алебастра и яшмы были привезены для «Мескиты» Кордовы из Константинополя, Греции, из Италии, с разных концов Испании. Колонны эти все разные, даже не подходят друг к другу размерами, но строители мечети утверждали, что сделали это нарочно: только Аллах может создавать абсолютную гармонию и совершенство, а простым смертным не следует с Аллахом соперничать... Калиф Абд Эль Рахман отдал на постройку все свои сокровища. Для потолков нужны были кедры ливанские. Из Дамаска выписали лучших мастеров по позолоте, — «стены были позолочены так, что от блеска их можно было ослепнуть». Вся мечеть днем была залита солнечным светом, а во время вечернего намаза загорались четыре тысячи лампад. Девятнадцать открытых арок соединяли мечеть с благоуханным апельсиновым садом, который сохранился до наших времен. Здесь правоверные совершали омовения у фонтанов, прежде чем войти в храм. В дни Ра-

мазана в мечети молилось восемьдесят тысяч человек.

Что же стало с арабской Кордовой? После изгнания неверных, кастильские конквистадоры сожгли миллион арабских книг и бесценных рукописей библиотеки, уничтожили все мечети, кроме этой, самой главной, да и то потому, что жители города, гордившиеся своей «мескитой», воспротивились ее уничтожению. Заодно стерли с лица земли и синагоги, — в Кордове сохранилась одна единственная молельня, — такая незначительная, что ее попросту забыли разрушить.

Большую мечеть превратили в собор, а минарет в колокольню. Три столетия спустя ревностное духовенство решило соорудить большой алтарь в самом центре здания, как это обычно делается в Испании. Множество замечательных колонн были уничтожены и внутри «мескиты» выстроили очень пышную церковь в стиле Ренессанса, с алтарем, ризницей и хорами. Всё это кажется каким-то диким анахронизмом посреди единственной в своем роде мечети. К чести жителей Кордовы надо сказать, что они всячески противились этому вандализму и даже король Карлос V, приехавший в Кордову после окончания работ, с негодованием воскликнул:

— Теперь вы имеете церковь, которую можно увидеть повсюду! А раньше у вас было нечто единственное в мире...

И все девятнадцать открытых арок, через которые в мечеть шло благоухание из сада и лился сол-

нечный свет, давно были замурованы, чтобы создать внутри привычный для католических храмов полумрак.

Какой-то грустью веет от этой заброшенной мечети-церкви. В боковых приделах теплятся огоньки свечей. Старухи в черных кружевных наколках стоят на коленях и беззвучно шепчут молитвы у подножья раскрашенных деревянных Мадонн.

*

Самое интересное в Кордове это арабский и еврейский кварталы, узкие улицы, напоминающие русло высохшей горной речки. Белые и какие-то слепые фасады домов, без окон, тяжелые ворота, окованные железом. Но ворота эти гостеприимно открыты и если войти, попадаешь в патио, имеющееся в каждом доме Кордовы.

Патио — душа дома, его гордость. Это небольшой дворик, мощеный мраморными плитами. В середине фонтан или высокая пальма, а вокруг олеандры и широкие зеленые листья бананов, цветы на клумбах, цветы в горшках, в окнах, на внутренней открытой галерее, на стенах. В жаркие часы над патио протянут парусиновый навес, дающий тень и прохладу. Под балюстрадой висят картины, расставлена мягкая мебель. Здесь отдыхают во время сиэсты, здесь собираются по ночам, сюда заходят друзья посудачить и выпить бокал золотистого хереса.

В арабских и еврейских домах живут теперь местные аристократы, военные, чиновники, адвокаты, но

первоначальный их восточный стиль сохранился. Только новые владельцы у входа в стене устроили нишу, поставили в ней небольшую статую Богородицы, перед которой по вечерам горит лампада.

Я видел патио богатых людей — с мраморными статуями, экзотическими цветами и мебелью, которая сделала бы честь любому салону. На улице Иегуды Леви мы осматривали патио дома, населенного беднотой. На стенах этого дворика развешана тысяча горшков с геранью, и надо видеть, с какой любовью хозяйки поливают эти цветы при помощи специальных леек, прикрепленных к длинным палкам.

На улицах Толедо, закованного в древние крепостные стены, нет ни одного дерева. Улицы Кордовы тонут в зелени. Здесь впервые я увидел, как апельсиновые деревья растут вдоль тротуаров. На этих деревьях висело множество еще зеленых плодов. Другие улицы усажены олеандрами с белыми и розовыми цветами, а широкие бульвары — мощными пальмами с пудовыми гроздьями свисающих фиников. Очень мне хотелось узнать, кто собирает этот уличный урожай апельсинов и фиников, но спросить было не у кого.

И Кордова имеет свой Альказар — султанский дворец, который тридцать лет строили тысячи рабов. Что осталось от былого великолепия? Султанские сады с фонтанами, амфилады комнат с драгоценной мозаикой, сквозные галереи, мраморные кружева в гареме, гигантские термы, в которых во время купанья одалисок играли на флейтах слепые музыканты.

Множество легенд связано с Альказаром Кордовы. Здесь бродит тень красавицы Марии Падильи, возлюбленной Педро Жестокого, оживают истории «Тысяча и одной ночи»... Всё это в далеком прошлом, заброшено, никому больше не нужно. Это кладбище старины. Кордова умирает с величественным достоинством.

Поздно ночью я вернулся на площадь Гран Капитана. «Новио» прогуливались со своими подругами с ленивой грацией матадоров. Девушки, действительно, были здесь лучше, чем в Мадриде — смуглянки «моренас», стройные, с гибкой талией и жгучими глазами. Или мне так показалось в лунном, обманчивом свете? В. И. Немирович-Данченко, побывавший в этих местах в начале столетия, уже тогда писал: «Андалузянка стройна и легка, как газель, у которой она позаимствовала глаза, большие, полные неописуемого выражения»...

А вот как описывал севильянок, сто лет назад, Д. Григорович: «Походка их и приемы проникнуты чем-то неуловимо-быстрым, смелым, игривым, кокетливым; невообразимая миловидность и грация движений, с каким несколько раз в секунду женщина раскроет и сложит веер, уверенность во взгляде и поступи, — всё это, в соединении с красотою типа и выражением чего-то страстного в каждой черте лица и в каждом движении, делает их обольстительными выше всякого описания: при встрече с ними часто удерживаешься, чтобы не ахнуть; сердце невольно вздрагивает»... Олэ! Олэ!

У террасы кафэ, где я устроился на отдых, остановилась повозка, на которой было механическое пианино-шарманка. Старик завертел ручку... Нет, это была не «Санта Лючия». После нескольких вступительных аккордов полилась модная греческая песенка «Никогда в воскресенье» и мул, запряженный в повозку, как-то сразу поник головой, — должно быть песенка эта ему смертельно надоела. Старик сыграл ее дважды, всё крутил и крутил ручку своей шарманки, а в это время его компаньон, потомок мавров с небритым лицом разбойника, обходил столики, протягивал шляпу и говорил:

— Para los artistos! Para los musicos!

И в шляпу артиста и музыканта летели монеты.

СЕВИЛЬЯ

«Кого Бог любит, тот живет в Севилье»

Андалузская пословица

СТАРЫЙ открытый фаэтон, в который были запряжены две белые клячи, медленно вез нас по ночным улицам Севильи, усаженным высокими пальмами. Время от времени кучер оборачивался, тыкал кнутовищем в портал церкви или фасад дворца и что-то говорил, — мы ни слова не понимали. Должно быть, он гордился своим городом и показывал нам достопримечательности, но каждый из нас молча думал о своем. Я думал о севильянке Лауре из «Каменного Гостя» и слышал ее голос:

Приди — открой балкон. Как небо тихо!
Недвижим теплый воздух: ночь лимоном
И лавром пахнет; яркая луна
Блестит на синеве густой и темной.

Небо было тихо, теплый воздух недвижим и яркая луна блестела сквозь пальмовые ветви... Я знал, что такой Андалузии, как она изображена в «Кармен» не существует, что гитары и кастаньеты можно теперь услышать только в кабарэ и что севильянки

больше не выходят на балкон для серенады. Как трудно было расстаться с этими милыми и привычными образами! Но ведь правда, — было в этой ночной прогулке по тихому, романтическому городу что-то особенное, чего я раньше нигде не испытывал. Где еще думать о Дон Жуане, как не в Севилье, где показывают его могилу? Может быть, под этим балконом в квартале Св. Креста Фигаро поджидал появления Розины. А по ту сторону Гвадалквивира, в рабочем предместье Трианы, Проспер Мериме встретил работницу табачной фабрики Кармен... В севильской тюрьме по обвинению в убийстве сидел Сервантес. Под сводами королевского собора, который я завтра увижу, покоятся останки Христофора Колумба. Сколько образов, какая жажда ничего не пропустить, всё увидеть, всё запомнить, — навсегда, на всю жизнь!

*

Старый город освещен газовыми фонарями. Мы выехали на какую-то площадь. Говорят, в Севилье есть сто одиннадцать площадей. Кучер объявил, что дальше ехать нельзя: улицы в квартале Санта Крус слишком узкие для его экипажа. Он получил на-чай и на прощанье показал дом с белым фасадом:

— Каза Мурильо.

В этом доме 3 апреля 1682 года умер Бартоломэо Мурильо, верный сын Севильи, украсивший церкви и музеи своего города светлыми и ясными полотнами, в которых сливалось божественное и человеческое начало. На этой площади Альфаро стояла церковь,

в которой Мурильо был похоронен. Наполеоновские войска церковь сожгли и в огне погибло всё, включая и гробницу, но севильянцы говорят, что прах великого художника здесь, в земле, под плитами этой площади.

Ворота дома Мурильо были открыты. Мы вошли в патио, — такое небольшое, что для фонтана или дерева в нем не нашлось места, а было только несколько горшков с цветами. Внутренняя лестница вела наверх, в жилые квартиры, но мы не решились идти дальше. Казалось, в этот час в доме не было ни души.

Видел я улицы-коридоры в константинопольской Галате, в старой Венеции и в Толедо, но таких живописных переулков и тупиков, как в этом квартале Св. Креста — встречать еще не приходилось. Со стен свешивались глицинии и ползучие розы. Газовые фонари придавали белым фасадам домов и окнам за железными решетками какую-то особенную нереальную атмосферу театральной декорации. В былые времена под окнами этими простаивали ночи напролет, завернувшись в плащи, севильянские «новио», занимавшиеся по местному выражению «ощипыванием индейки», т. е. весьма платоническим ухаживанием за дамой своего сердца, отделенной от страдальца кованой решеткой. Теперь ухаживание приняло менее романтические, но более доступные формы: в распоряжение молодых людей предоставлены все городские парки и сады Альказара.

Мы долго бродили по лабиринту еврейского квартала — без плана, без цели, наслаждаясь прохладой

и синевой ночи. Послышалось стройное пение нескольких голосов. На площадке, засаженной акациями, у фонтана, расположилась группа подростков. Они пели «фламенко» и ритмично били в ладоши.

Почти каждый вечер нас возили в кабаре, на пение и танцы «фламенко» и если я до сих пор об этом не писал, то только потому, что из всех испанских впечатлений выступления этих профессиональных и не всегда хороших артистов казались мне самыми слабыми. Я знал Аржантину и Кармен Амайю, видел на сцене Аржантиниту, Хозе Греко, Антонио и Росарио, лучших испанских танцоров и певцов в мире. Чем могли поразить кабаретные артисты Мадрида, Кордовы или Севильи, по пять раз в вечер устраивающие свои получасовые сеансы для торопящихся туристов? Но эти мальчики на площади пели и били в ладоши для себя. Это была Испания настоящая, не выдуманная и не для богатых иностранцев.

*

Утром меня разбудил веселый трезвон колоколов. Был день Вознесения и только выйдя на улицу я понял, что пропустил нечто важное: только что закончилась большая церковная процессия, и широкое авеню было черно от людей, расходившихся от собора по домам. Какая досада! Нас не предупредили, что в это утро статую Богородицы вынесут из собора под бой барабанов, звуки труб и церковные песнопения, что весь день Она проведет в главном алтаре собора и лишь вечером вернется в свою капеллу. А я так хо-

тел послушать «Саетас», — народные гимны в честь Мадонны, которые импровизируют уличные певцы. В мотивах их причудливо переплетаются заунывное пение муэдзина с минарета и рыдания синагогального кантора. Знаком я был с этими «Саетас», по замечательной пластинке, напетой Рафаэлем Ромеро.

Оставалось только поглазеть на многотысячную толпу. Женщины все были в черном и в кружевных мантильях, которые надевают теперь только для посещения церквей. Было немало крестьян, неловко чувствовавших себя в праздничных костюмах и в плоских, широкополых кордовских шляпах. Посреди улицы шел громадный рыжий каноник и нес в свой приход Распятие, участвовавшее в процессии. Каноник на ходу перекидывался с толпой шутками. Кто-то протянул ему бутылку содовой воды, он остановился, отпил несколько глотков и весело зашагал дальше, еще выше держа черный крест над толпой.

Вечером я отправился в собор посмотреть проводы Богоматери. В капитуле шла служба. Полумрак собора прорезали разноцветные солнечные лучи, падавшие вниз из высоких окон. Священники громко и монотонно пели латинские молитвы и меня поразили два добродушных падре. Одной рукой держали они молитвенники, а другой — мерно и в такт пению обмахивались веерами и даже с каким-то чисто андалузским шиком с треском раскрывали и закрывали их.

В ожидании конца службы я пошел посмотреть на «Св. Антония», удивительное создание Мурильо, в одном из боковых приделов. А в это время в глав-

ном алтаре уже готовились к выносу Богородицы. По случаю праздника статую облачили в красное парчевое платье, а руки Мадонны были унизаны бриллиантовыми кольцами и браслетами. Эта любовь к украшению драгоценностями статуй святых очень характерна для Испании.

Не могу вспомнить, где именно, в Севилье или в Гранаде, видел я нечто, меня сразившее: очень реалистично сделанную статую Христа у которого были настоящие волосы. В эти волосы воткнули три бриллиантовые стрелы... Я не поверил бы, если бы не видел этого своими глазами и, не удержавшись, спросил по-французски падре, который показывал собор и давал объяснения:

— Почему в волосы Христа вставлены бриллиантовые украшения?

— Эти три стрелы символизируют Отца, и Сына, и Святого Духа, совершенно естественным тоном ответил он мне.

— Бриллианты на статуе Богородицы и даже Христа не имеют цены. Разве нет опасности кражи? Кто охраняет эти сокровища?

Тут настал черед удивиться священнику. Он посмотрел на меня с сожалением, явно не понимая, как подобная ересь могла прийти человеку в голову.

— Никто не охраняет, — сказал он с достоинством. — Наши воры крадут у людей, а не у Богородицы.

Тем временем сорок человек забрались под специальную платформу, на которой была установлена

статуя Богоматери. Быть «катальщиком» Мадонны — должность почетная, и не каждому дано потрудиться во славу Пречистой. Бархатный полог опустили до самой земли, так что «катальщиков» не было видно. Процессия образовалась. Впереди шли с зажженными свечами какие-то люди в черном, с благочестивыми, постными лицами. Вероятно, в Страстную Неделю они же играют роль босоногих «пенитантов». За ними двинулись мальчики в белых кружевных накидках, священники попарно и, в самом конце, епископ в своей пышной мантии, благословлявший толпу. По удару серебряного молотка, Богородица поднялась над толпой, рассталась с алтарем и медленно поплыла вперед, сверкая своим убранством. Только сделала процессия два или три десятка шагов, как снова ударил молоток и всё остановилось. Сорок «катальщиков» получили минутную передышку, а затем, по сигналу, двинулись вперед.

Я внимательно вглядывался в окружавшие меня лица. В большинстве это были немолодые женщины в кружевных мантильях. Они наскоро крестились, смотрели на Богородицу, радостно ей улыбаясь и кивая головами, — словно Она была им старой и близкой знакомой.

*

Во всех книгах о Севилье можно прочесть такое двустишие:

Quien no ha visto a Sevilla
No ha visto a Marvilla.

Т. е. кто не был в Севилье — не видел чуда.

Чудо — это, прежде всего, собор, — самый большой католический собор в мире, больше Нотр Дам де Пари, на двенадцать метров длиннее собора Св. Петра в Риме. Построили его на месте мечети, разрушенной после изгнания мавров. Севильянское духовенство решило ничего не жалеть, чтобы сделать собор великолепным. Архитекторам сказали:

— Постройте церковь единственную в мире. Пусть будущие поколения думают, что мы были сумасшедшими.

Чтобы осуществить это пожелание понадобилось сто восемнадцать лет. Описывать собор и его красоту в очерке нельзя, — для этого понадобились бы целые книги, и такие книги уже давно существуют. Здесь тридцать семь капелл, и в каждой ежедневно идут службы. В королевском приделе показывают гробницу из золота и серебра, в которой покоится св. Фердинанд, отвоевавший Севилью у мавров. В виде особого одолжения серебряную стенку королевской усыпальницы отодвигают, — за стеклом видно нечто очень страшное и тленное, в бархатных одеяниях. Здесь же гробница кроткой Марии Падильи, возлюбленной Педро Жестокого.

Но Христофор Колумб погребен не в боковом приделе, где хоронили королей, а у главного алтаря. Ему воздвигнули великолепный мавзолей из темного мрамора. Четыре рыцаря-гиганта в костюмах четырех провинций Испании несут на своих мощных плечах саркофаг, в котором покоится прах великого мореплавателя. Христофор Колумб и после своей смерти

продолжал странствовать. Его похоронили сначала в Сан Доминго, потом перевезли в Гавану, а когда Куба освободилась от испанского владычества, Колумб вернулся в Испанию, в севильский собор, на украшение которого ушло столько золота из новооткрытых им американских владений.

Существует большая литература доказывающая, что Христофор Колумб был «мараном», т. е. крещеным евреем. Если это так, то, вероятно, он — единственный в мире крещеный еврей, похороненный с королевскими почестями в величайшем католическом соборе.

Второе чудо Севильи непосредственно примыкает к собору. Это — Хиральда, бывший минарет мечети, к вершине которого пристроили четырехэтажную колокольню. Мавританский стиль внизу, готический наверху, а вместе с тем Хиральда, действительно, кажется каким-то архитектурным чудом. Не даром севильянцы, давшие разрушить мечеть, не позволили притронуться к минарету, которым они испокон веков гордились.

С какой бы стороны путник ни подъезжал к Севилье, он уже издали видит легкий силуэт Хиральды, возвышающийся над городом. И не так уж велика эта колокольня по современным понятиям, — всего девяносто пять метров, но ведь когда ее строили! К стыду своему должен признаться, что у меня не хватило мужества пешком отправиться на вышку Хиральды, где прикреплена статуя Веры, вращающаяся при малейшем дуновении ветра. Жаль, оттуда открывается великолепный вид на окрестности. После «Ре-

конкисты» четыреста тысяч мавров были изгнаны из Севильи. Неверных гнали из города к морскому побережью солдаты — кастильянцы, закованные в тяжелые железные латы. Выйдя на равнину, мавры остановились, в последний раз оглянулись назад, увидели Хиральду. И тогда начался «великий плач». Но солдаты не дали им оплакивать потерянный рай и копьями погнали толпу дальше.

*

В каждом старинном испанском городе есть свой Альказар или Альгамбра, — одновременно и крепость, и королевский дворец. Севильский Альказар был создан арабскими султанами со всей роскошью Востока. Бесконечная амфилада мраморных комнат, подковообразные арки в стенах, через которые открывается вид на султанские сады с лучшими розами Испании.

Жарким полымем горят
Из-под кружева мантильи,
Обольщая жадный взгляд,
Розы пышные Севильи.

В садах еще и теперь бьют бесчисленные фонтаны. В севильском Альказаре калифы принимали ежегодную дань королей провинции Леона: сто красивейших готских девушек. Некоторых калифы оставляли в своем гареме, других посылали в подарок вельможам и фаворитам. В Альказаре поселился Педро Жестокий и красавица Мария Падилья, которую он приказал считать королевой.

Католические короли никогда не любили мусульманского Альказара. Его предполагали разрушить, как систематически разрушали всё, напоминавшее о многовековом владычестве мавров. Дворец был спасен от гибели только потому, что Филипп II увлекся постройкой Эскуриала, под Мадридом, и крепость севильская была попросту заброшена. Говорят, Альказар когда-то соединялся подземными ходами с Золотой Башней, несущей стражу на берегу Гвадалквивира. У башни этой выгружали золото, приходившее из Америки, — оттуда и название Дель Оро. При Филиппе Втором крепость превратилась в тюрьму. Здесь держали еретиков, ждавших сожжения на кострах.

С набережными Гвадалквивира, широко разлившегося у Севильи, неизменно связана память об оборвыше Мурильо... Отсюда ушла в Мексику экспедиция Фернанда Кортеса. Здесь, на этих берегах, было снаряжено первое кругосветное путешествие португальца Магеллана.

Неподалеку от Золотой Башни, по ту сторону моста, расположено предместье Триана, до сих пор пользующееся дурной славой. Там живут севильские цыгане. Трудно сказать, чем они промышляют. Есть в Испании поговорка, дающая на этот вопрос ответ:
— Андалузский осел и севильский гитано могут жить воздухом.

В Триане расположены табачные фабрики, на которых работают «сигареры» — внучки и правнучки Кармен. Предместье славится не только своими красавицами, — из Трианы вышли две великомученицы

свв. Руфина и Юстиния, покровительницы Севильи, тоже бывшие простыми работницами.

По вечерам девушки Трианы прогуливаются по берегу реки в обнимку со своими «новио». Особенно заглядываться на них не рекомендуется, — «новио» больше не выходят на прогулку со шпагами или навахами, но любовью они и сегодня не шутят. Случается, однако, — севильянка вдруг поднимет на прохожего темные, восточные глаза, на миг блеснет в них лучистый свет и тут же она потупит взор, скроет его за своими длинными ресницами...

В маленьких тавернах звенят гитары. Гитаны поют, бьют в ладоши, веселятся. Там поют:

> У Севильи есть Триана,
> Где родятся без конца
> Молодцы смелее чорта
> И горячие сердца.

Это — в переводе В. И. Немировича-Данченко, который несколько недель жил в Севилье.

Меня предупредили, чтобы я не разгуливал ночью по улицам Трианы и убрался бы восвояси до наступления темноты. Всё же, я зашел в какой-то кабачек, по виду довольно страшный и грязный притон. Вся стена в глубине была уставлена винными бочками. Кроме хозяина в баре я увидел еще двух стариков. Они спали, сидя за столиками, уронив головы на грудь.

Было жарко, мне хотелось пить и кое-как, с грехом пополам я объяснил, что хочу получить стакан

красного вина, «вино россо». Хозяин внимательно на меня посмотрел, взял с полки двойной стакан и спросил — хватит ли? После чего он подошел к бочке и нацедил белого вина.

— Россо, упрямо твердил я. Не «бианка», а «россо».

Кабатчик с презрением выплеснул вино на пол и сказал:

— Россо не существует. Говори «тинто». Тинто!

— Тинто, пер фаворе, вежливо попросил я.

Он удовлетворенно кивнул головой и налил из другой бочки стакан вальдепанаса, «крови Андалузии». Вино было терпкое, крепкое и холодное. Очень мне хотелось угостить двух бродяг за столами. Но они продолжали крепко спать, да я и не знал, как предложить им угощение... Допив «тинто» я положил на стойку монету. Хозяин дал сдачу, — стакан вина стоил две с половиной пезеты, т. е. пять американских сентов.

— Адиос! — сказал я выходя на улицу.

— Вайа устед кон Диос! — сказал хозяин. Отправляйтесь с Богом.

Уже темнело. Я решил, что лучше, действительно, отправиться с Богом, и пошел через мост к центру Севильи, где уже загорались голубые фонари.

ДВА ДОН-ЖУАНА

«Скажите мне: несчастный Дон Гуан Вам незнаком?»
«Каменный Гость» —
Пушкин

ОБРАЗ Дон Жуана сохранится в памяти людей до тех пор, пока на земле будут любить, наслаждаться и умирать. Поэты будут посвящать ему стихи, писатели рассказывать о жизни севильского обольстителя и спорить о том, кто именно послужил моделью испанскому монаху Тирсо де Молина, который первый создал образ Дон Жуана в драме «Севильский соблазнитель или Каменный Гость».

Прототипом «Севильского соблазнителя» был порочный Дон Хуан де Тенорио, живший в четырнадцатом столетии. Дружба с королем Педро, богатство и знатность, обеспечивали ему полную безнаказанность. Когда утром на улицах Севильи находили труп, женщины крестились и шептали:

— Это дело проклятого Дон Хуана, да покарает его Господь!

Именно этот Тенорио соблазнил донью Анну, дочь командора Уолла (а не жену, как у Пушкина) и убил его на дуэли. Командор был похоронен на

уничтоженном теперь кладбище при монастыре св. Франциска. Но еще в конце прошлого столетия Вас. И. Немирович-Данченко видел склеп и каменную статую командора.

Позже, после монаха-драматурга, в Севилье жил распутный Мигэль де Маньяра, которого другие писатели вывели в своих произведениях тоже под именем Дон Жуана. Тенорио, как известно, провалился в преисподнюю. Де Маньяра кончил гораздо лучше — он покаялся и стал ревностно искупать свои грехи.

Таким образом, Севилья дала двух Дон Жуанов: одного — грешника, отправленного командором в ад, и другого — святого, для которого, несомненно, было уготовлено место в раю... Вероятнее всего Дон Жуан — образ собирательный и принадлежит международному любовному эпосу. Этим и можно объяснить постепенную эволюцию в его литературной трактовке.

Дон Жуан в драме Тирсо де Молина показан великим грешником. Для удовлетворения своих низменных целей и похоти он ни перед чем не останавливался. Это был человек средневековья, — грубый, жестокий. Он охотно лгал и легко забывал о своих преступлениях. Кто-то правильно сказал, что самое красивое в Дон Жуане — это обстановка, в которой он действовал: севильская ночь, белые фасады домов, балконы со смуглыми красавицами. Постепенно драматурги и поэты, не устоявшие перед этой красотой, начали окутывать и самого Дон Жуана дымкой романтики и даже украшать его некоторыми чертами благородства. Мольер, Байрон и Пушкин, выражаясь

модным языком, совсем его «реабилитировали», придав образу севильского повесы необыкновенную силу и обаяние.

Пушкин выбрал в качестве модели для своего «Дон Гуана» героя драмы Тирсо де Молина. В 1830 году, когда Пушкин писал «Каменного Гостя», он занимался одновременно и изучением испанского языка. В библиотеке его были учебники, словари и несколько книг на испанском языке, в частности сочинения Сервантеса. Пушкин приступил к «Каменному Гостю» ознакомившись предварительно с тем, что писали на эту тему не только Мольер и Байрон, но и Тирсо де Молина, — пушкинский сюжет весьма близок к оригинальной версии испанского драматурга. Интересно, между прочим, что Пушкин отказался от современной и казавшейся ему неправильной транскрипции имени героя «Дон Жуан» и избрал для себя испанское произношение «Дон Хуан». По словам исследователя Дивильковского, опасаясь цензуры, которая считала букву «Х» в слове «Хуан» неприличной, Пушкин назвал своего героя Дон Гуаном... В первоначальных записях «Каменного Гостя» поэт писал еще «Жуан» и действие происходило в Севилье. Знаменитая строфа звучала так:

Достигли мы ворот Севиллы.

А затем Пушкин решил перенести действие в Мадрид и в окончательной редакции осталось «Достигли мы ворот Мадрита». Пушкинский Дон Гуан кончает так же, как и герой драмы Тирсо де Молина: Каменный Гость увлекает его в преисподнюю.

*

Совсем иная судьба постигла второго севильского Дон Жуана — Мигэля Маньяра. И к нему можно вполне применить пушкинскую характеристику. Он был

Развратным
Бессовестным, безбожным
Дон Гуаном.

Всё сходит ему с рук, — совращения и насильственные похищения женщин, богохульство, убийства соперников. Это тип демонический, вечный и никогда не удовлетворенный искатель любовных приключений. Едва соблазнив, он уже разочарован и уходит в поисках новой жертвы, снедаемый желанием испробовать на другой женщине силу своего обаяния.

Чем ниже падает распутник, чем страшнее его грехи, тем ближе он подходит к Богу. Дон Жуан нашел Бога и спас свою душу на дне греха, дойдя до последней грани.

Однажды, после веселой пирушки, он шел по ночной улице и вдруг увидел вдали огни факелов и услышал пение «Де Профундис». Навстречу двигалась похоронная процессия. «Пенитанты» в кагулах с факелами, за ними священники. Друзья в черном платье несли на плечах открытый гроб.

— Кого вы хороните? — спросил он.

— Это похороны Дона Маньяра, — ответил один из «кающихся». — Помолись за его грешную душу. . .

Дон Маньяра усмехнулся, — шутка показалась

ему очень забавной. Он подошел к открытому гробу и взглянул в лицо мертвеца. В гробу лежал он сам...

На утро прохожие нашли на улице бесчувственное тело Дона Маньяра. Помните у Блока:

> Тяжкий плотный занавес у входа,
> За ночным окном — туман.
> Что теперь твоя постылая свобода,
> Страх познавший Дон Жуан?

С этого дня началось превращение завсегдатая лупанаров в святого. Он вошел в братство Калатравы, которое снимало с виселиц полуразложившиеся тела казненных и хоронило их на кладбище. Он ходил за чумными и прокаженными, спал и ел вместе с ними. Он роздал бедным свое богатство. Дон Жуан публично каялся в своих грехах и преступлениях, носил вериги и власяницу. Всё отныне казалось ему грехом. Дон Жуан, убивший в себе плоть, на смертном одре познал великую любовь к Богу.

В яркий солнечный день я поехал в церковь Каридад, где похоронен Дон Мигэль де Маньяра. Церковь была построена на его личные средства при больнице для неизлечимо больных и существует до сих пор. Во дворе, под колоннадой, прибита мраморная доска, на которой выгравирован сонет, написанный Маньяра в последний, просветленный период его жизни. Вот заключительные строки философского сонета:

> Что значит умереть?
> Покинуть страсти иго!
> Жизнь — это смерть, горчайшая из всех,
> Смерть — это жизнь, сладчайшая, святая.

Не знаю, как действует этот сонет на неизлечимо больных Каридада, но мне лично в этот чудесный солнечный день вовсе не хотелось последовать совету Маньяра и «покинуть страсти иго»... Я вошел в церковь, скромную по размерам и очень светлую. Было пусто. Только пожилая монахиня, стоя на коленях, читала молитвы. При виде посетителя она прервала молитву, подошла и начала что-то рассказывать по-испански. Потом подвела меня к полотну художника Вальдеса Леаля, который по заказу Маньяра, со страшным реализмом, изобразил тлеющее тело кардинала в митре и скелет рыцаря в раскрытом гробу, — картина должна показать тщету всего мирского... Когда-то Вальдес Леаль спросил Мурильо, расписывавшего стены в этой же церкви, что он думает о его картине?

— На нее можно смотреть, только зажав нос, — ответил чувствительный Мурильо.

Нет, не за этим приехал я в церковь Каридад. Где же могила Дон Жуана? Монахиня с укоризной на меня посмотрела и поправила:

— Дон Жуана я не знаю. А здесь похоронен почтенный слуга Господа Дон Мигэль де Маньяра, да простятся ему все прегрешения...

И при этом набожно перекрестилась. Мы подошли к могиле. На плите было выгравировано:

Здесь покоится прах величайшего злодея,
когда-либо существовавшего на земле.
Молитесь за него.

Монахиня опять начала читать молитву. Надо

было как-то отблагодарить матушку за труды. Я вынул бумажку и направился к ящику, в который опускают милостыню для бедных. Монахиня сказала:

— Дайте это мне.

Я смутился и сунул ей бумажку, которая тотчас же исчезла в складках ее широкой синей юбки. Настоящий Дон Жуан — до раскаяния — получил бы от этой сцены большое удовольствие.

*

В Севилье множество приходов и каждый имеет собственную Богородицу, и каждый считает, что «его» Богородица лучше и красивее всех остальных. Но нет лучше и красивее Богородицы Надежды, которую в городе фамильярно называют Макареной.

Называют ее так потому, что церковь, в которой Она пребывает, расположена в бедном квартале Макарена и постепенно имя перешло на святыню. Когда-то это был очень шумный и простонародный район, соперничавший с предместьем Трианы. Но, постепенно, красочность исчезла. Нет больше ярких костюмов, не слышно гитар и кастаньет, а традиционные андалузские наряды появляются только во время «феерии» на Святой Неделе.

Макарена предстала перед нами во всем своем великолепии. Лицо Богородицы Надежды было каким-то кукольным и скульптор даже изобразил слезы. Но спросите любого севильянца и он с гордостью объяснит, что выражение лица Макарены постоянно

меняется, — временами Она сердится, временами счастливо улыбается. Статуя в бриллиантах, рубинах и изумрудах, с кольцами и браслетами на руках, с нитками жемчуга на шее. Гид сообщил, что драгоценности Макарены оцениваются в сорок миллионов пезет. Сколько на эти деньги можно было бы накормить голодных, нисколько не умаляя красоты Мадонны!

На Страстной, когда в Севилье непрерывные религиозные процессии, выход Макарены носит исключительно торжественный характер. Ее выносят в ночь на пятницу. Процессия покидает церковь в одиннадцать часов вечера, и гид с улыбкой сказал:

— Она выходит из церкви ночью, а возвращается только утром...

Так, в общем, говорят о севильянке, которая прогуляла целую ночь! Но для Севильи Макарена не только глубоко чтимая святая, но и очень близкое, родное существо, с которым люди вполне сжились и которая разделяет все их радости, вместе с ними и плачет, и улыбается.

*

Наступила еще одна прозрачная, синяя севильская ночь.

Около полуночи три приятеля — молодой француз, итальянец из Нью Иорка и я, заблудились в лабиринте улиц квартала св. Креста. Долго шли мы наугад, пока не забрались в такие места, где уж и фонари стали редкостью. Наконец, встретились три человека, мирно разговаривавшие на перекрестке.

Как от этого места добраться до собора? Задайте такой вопрос парижанину, — он извинится и вежливо скажет, что не знает: он не из этого квартала. Но итальянцы и испанцы обожают показывать дорогу и не только объяснят, но и сами поведут куда надо заблудившегося человека.

Севильянцы быстро между собой переговорили и решили:

— Эдуардо вас проводит. Вы сами не найдете.

Мы двинулись в путь. Эдуардо, преисполненный важностью по случаю возложенной на него миссии, шел впереди. Это был совсем молодой парень, лет двадцати, смуглый, черноволосый, красивый. Шли молча и довольно долго, пока, наконец, не попали на ярко освещенную и шумную улицу. Здесь предложили мы нашему гиду зайти с нами в кафе выпить.

Уселись за столик и заказали кувшин «сандрии». Это освежающий напиток: красное вино со льдом, ломтиками апельсина, несколькими ложками сахара. Всё разбавлено зельтерской водой. Когда разлили вино по стаканам, гид встал, пожал каждому руку и представился:

— Эдуардо Диаз!

Мы тоже представились, чокнулись. Эдуардо сказал:

— A su salud!

— ...Salud, — ответили мы.

Дальше произошло нечто удивительное. Втроем мы не располагали и пятьюдесятью испанскими сло-

вами. Эдуардо говорил только на своем языке. Но через несколько минут всё о нем было известно, — и то, что у него нет сейчас подруги, и что его падре и мадре живут в городе Лохо. Оказалось, наш гид — маляр по профессии, на руках его была плохо отмытая краска. Через два месяца всё придется бросить и идти в армию. Он уже получил вызов.

Как мы всё это поняли? Не знаю. Эдуардо, например, вынул и показал свидетельство от военного министерства. Это был вызов на сборный пункт в определенный день и сообщение, что он будет служить в авиации, на Азорских островах.

Когда «сандриа» была распита и мы окончательно подружились он сказал, что зарабатывает очень хорошо — восемьсот пезет в неделю, что на наши деньги составляет тринадцать долларов. В С. Штатах, если не ошибаюсь, юнионный маляр получает в день двадцать долларов, но ведь жизнь у нас значительно дороже, чем в Испании. Там недельная заработная плата в восемьсот пезет считается вполне приличной. В большом отеле в Мадриде я разговаривал с женщиной-уборщицей, которая с утра до вечера ползала на коленях по мраморным лестницам и мыла их тряпкой, — до половой щетки мадридская отельная техника еще не дошла. Она сказала, что получает в день за свою работу шестьдесят пезет, т. е. один доллар.

Когда я проверил это у испанца, хорошо говорящего по-английски, он подтвердил, что такие заработки существуют и это одно из больших достижений Франко: только совсем недавно закон гаран-

тировал минимальную заработную плату в один доллар в день. Раньше и этого не получали.

Вот другие примеры оплаты труда в Испании. Прислуга, работающая шесть дней в неделю, — уборка, стирка, стряпня, — получает тысячу пезет в месяц (семнадцать долларов), а очень хорошая секретарша, знающая языки, гордится жалованьем в шестьдесят долларов в месяц. Заработок рабочего редко превышает сто пятьдесят — двести пезет в день, деревенский батрак получает не больше шестидесяти пезет.

Как живут на эти деньги рабочие? Квартира в расчет не принимается. Либо ее гарантирует хозяин, либо семья обретается в пещере, в подвале, на чердаке. В основе питания в Андалузии лежит суп «гаспачо», заправленный томатами, накрошенным луком, огурцами, кусками хлеба, уксусом и неочищенным оливковым маслом, от которого у всех, кроме испанцев, воротит душу. Обед дополняет тарелка бобов или дыня, стоящая на базаре от трех до пяти пезет (т. е. пять — семь сентов). На рынке я не был, но рынок в Испании повсюду, ни улицах и на площадях. Весь день бродячие торговцы что-то продают. Кто выкрикивает «Наранха!» «Наранха!» (апельсины), кто расхваливает лежащие горами пахучие дыни и арбузы. Мелкая сардина или иная рыбешка доступна даже человеку с ничтожными заработками.

Думаю, что с платьем, бельем, и обувью дело обстоит хуже. При всей хваленой испанской дешевизне многое здесь должно быть людям недоступно. Это особенно печально в стране, где внешнему облику

придается большое значение. Я уже писал, что испанец предпочитает голодать месяц, но купит себе элегантный костюм, а секретарша из своего скудного жалованья путем всяческих лишений выкроит и на платье, и на новенькие туфли.

Вернемся к Эдуардо, который что-то расспрашивал нас об Америке на своем языке, а отвечали мы ему на своем. Когда принесли счет, этот настоящий гидальго, — бедный, но по-испански гордый человек, полез в карман и обязательно хотел заплатить. С трудом ему объяснили, что он наш гость. Эдуардо встал, пожал всем руки и на прощанье каждому сказал:

— Адиос, амиго!

Нам было жаль с ним расстаться, но рано утром мы ехали дальше.

Впереди была дорога от Севильи до Гранады.

ОТ СЕВИЛЬИ ДО ГРАНАДЫ

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей.

А. К. Толстой.
«Дон Жуан»

СЕВИЛЬСКАЯ ночь кончилась очень поздно. Мы засиделись в клубе, где красивые цыганки плясали «малагенью» и арагонскую «хоту». Гремели каблучками, стрекотали кастаньетами, ритмично били в ладоши и лениво двигали выразительными бедрами. А в дальнейший путь нам пришлось отправиться рано утром. От усталости в автокаре хотелось вдруг завыть тем отчаянным голосом, которым исполняют свои «канте хондо» севильские певцы фламенко.

— Не падайте духом, — сказал нам гид. — Через два часа все мы будем пьяны.

— ?!

— Мы едем в Херес осматривать винные погреба. И там очень хорошо угощают.

В Хересе, действительно, угощали хорошо. Но до этого надо было еще долго ехать долиной Гвадалк-

вивира, среди серо-зеленых оливковых рощ и виноградников. В августе в этих местах солнце жжет нестерпимо. Нам повезло, лето выдалось прохладное, от жары мы не страдали, а по вечерам с близкого моря всегда дул свежий ветерок «мореа».

Лет сто назад Херес посетил писатель Д. Григорович. Приехал он сюда на дилижансе, с немалым риском для жизни — дороги кишели разбойниками. Город показался ему убогим, и во всем Хересе нашелся о д и н единственный трактир, в котором можно было переночевать. Но получить обед так и не удалось: хозяин упорно предлагал гостям горячий шоколад. Ничего иного у него в запасе не было.

Должно быть и сейчас в Хересе осматривать нечего, потому что нас прямо повезли в винные погреба Сандемана. Почему я до сих пор думал, что это не испанская, а португальская марка порто?

В погребах пахло сыростью и спиртом. Вдоль стен — горы бочек с вином, еще не разлитым в бутылки. Вино должно стареть в бочке пять лет, потом его смешивают пополам с уже готовым хересом, и оставляют еще лет на пять. Только после этого сухое, янтарное вино разливают в бутылки и оно уходит из подвалов во все концы света. Нам дали попробовать херес 1962 года, — вкусом он напоминает плохой уксус.

— Его будут переливать, смешивать и через десять лет этот уксус превратится в нектар, — объяснил заведующий складом.

В дальней комнате был накрыт стол, стояли закуски и батарея бутылок.

Начали с сухого вина цвета светлого золота, потом перешли на порто и закончили сладким дессертным «шерри», от которого быстро отяжелела и слегка закружилась голова. В комнате, где мы пировали, вдруг стало очень светло и весело, голоса зазвучали особенно звонко, и французы при моем благосклонном участии затянули застольную песенку:

Buvons un coup,
Buvons en deux
A la santé
des amoureux!

Кто в нашей компании был «амурэ» я, собственно, не могу сказать, — разве только испанский гид, по-очередно влюблявшийся в наших техасских учительниц. Девушки были миловидные, танцевали с ним ча-ча, но дальше этого дело не шло, и на утро гид сидел грустный и немного обиженный. Это сильно сказывалось на его объяснениях, они становились лаконичны.

Чем кончилось посещение погребов я сейчас, в точности, не могу вспомнить. На прощанье каждый из нас получил в подарок по бутылке «шерри». Автокар давно уже катил по направлению к Кадиксу, а мы всё еще чокались, пели, восхваляли испанское гостеприимство и клялись, что до конца дней будем пить исключительно Сандеман.

*

Во всех книгах я читал, что Кадикс — ослепительно белый город. Кадикс не белый, а разноцветный. Вернее, стал он разноцветным после 1948 года, когда случилось страшное несчастье: город взлетел на воздух.

Со времени окончания войны испанские моряки вылавливали в море мины и складывали их в предместьях Кадикса. Разрядить мины никто не потрудился. Они были просто оставлены на произвол судьбы, их поливали дожди, жгло неумолимое солнце. И в один трагический день, неизвестно по какой причине, мины взорвались.

До сих пор никто в точности не знает, сколько тысяч жителей погибло от взрыва. Большая часть домов была превращена в груды развалин. Потом Кадикс отстроили заново, но фасады домов, когда-то однообразно белые, стали разных цветов. Один из самых старых городов Испании внезапно стал новеньким и молодым.

Было и другое основание называть Кадикс белым. Вокруг города, в низких прибрежных равнинах, устроены соляные варницы. Громадные пространства затоплены водой океана, приведенной по каналам. Под африканским солнцем вода медленно испаряется, оставляя на земле плотный ковер серебряной соли. Там, где соль уже собрали, высятся белые, сверкающие холмы.

Говорят, женщины Кадикса славятся красотой.

Еще Байрон в Чайлд Гарольде воскликнул: «Кто восхитит вас так, как девушка Кадикса!» Но приехали мы в час самый неподходящий для обследования, во время сиэсты, когда все красавицы спали за опущенными соломенными шторами. Закрыт был и монастырь капуцинов, где хранится последнее, незаконченное полотно Мурильо «Мистический брак Екатерины Сиенской». Кисть выпала из рук уже смертельно больного мастера. Его увезли в Севилью, где он вскоре умер.

В порту было сонно и тихо. Струился горячий прозрачный воздух. Пахло смолой и мокрыми канатами. Небо неправдоподобной синевы сливалось где-то на горизонте с такой же синевой моря. Какое запустение! А ведь было время, когда в этот порт приходило множество судов за солью, оливковым маслом и вином. Насколько важно было в старину торговать с Кадиксом я понял только позже, вернувшись в Нью Иорк. В Публичной Библиотеке, в сборнике старинных документов, опубликованных в «Отечественных Записках», я прочел приказ Петра Великого, который еще в 1723 году назначил в Кадикс Российским Консулом Якова Евреинова и собственноручно написал ему длинную инструкцию:

«Понеже всех Европейских Наций в Гишпании в городе Кадиксе обретаются консулы, и купцы торгуют товарами северных стран, и через такое многое купечество великия суммы золота и серебра, из того города вывозят, и тем себя обогащают, а торг их больше состоит мачтами, досками и иными лесными

таварами, которые употребляются к строению домов и кораблей, також-де канатов, в смоле, рыбном жире, сале, воске, меде, железе, стали, холстах и в иных многих товарах, которые за помощью Божескою в России добровольно обретаются... того ради ехать тебе в Гишпанию с князь Иваном Щербатовым, обоим под именем Волонтеров (как и прежде многие Российские люди ездили), а как в Гишпанию въедете, то тебе ехать в Мадрит к обретающемуся тамо Министру Князю Голицыну, которому велено тебя при тамошнем дворе объявить и о житье твоем в Кадиксе, и о торговле Российскому народу исходатайствовать Указ, а Щербатову велено ехать прямо в Кадикс, и там с купцами тамошней нации, а не с другими получить знакомства и тайным образом разведывать о той коммерции»...

Не знаю, насколько успешна оказалась миссия Якова Евреинова и князя Щербатова, но из всех городов Испании только в Кадиксе по выбору Петра был Российский консул.

*

Чем ближе к морю, тем меньше оливковых рощ и зелени. Появляются голые холмы, солончаки, соль поблескивает на солнце. Над равниной летят аисты, направляющиеся в Африку и всё чаще паря́т в воздухе степные орлы.

Мы проезжаем Алхесирас и я мучительно хочу вспомнить: какой тут был подписан договор, о котором я смутно помнил еще с детства? Помучившись,

заглянул в Британскую Энциклопедию. Оказывается, в апреле 1906 года заседала Алхесирасская конференция, решившая судьбу Марокко и фактически отдавшая его под протекторат Франции. У набережной пришвартованы рыбачьи баркасы с громадными фонарями для ночной ловли сардин. Отсюда как на ладони виден соседний Гибралтар, — последняя скала Сиерры Невады, врезавшаяся в море.

Путешествовать по Европе теперь стало очень просто, паспортные формальности почти устранены. Но граница между Испанией и Гибралтаром охраняется необычайно, словно с часу на час надо ждать объявления войны. Кажется, делается это для борьбы с контрабандой (которая, впрочем процветает здесь) и для контроля испанских рабочих, стремящихся в Гибралтар в поисках высокой платы.

Паспорта отбирают, штемпелюют. Сначала испанские, а затем английские чиновники тщательно всё сверяют и заглядывают в лица: не контрабандист ли? В нашем автокаре контрабандистов не оказалось, но проверка продолжалась так долго, что у контрольного пункта образовался порядочный затор. Полицейские на испанской стороне неистовствовали, размахивали руками, кричали на шоферов. Мы медленно проехали нейтральную зону в два десятка метров, увидели британский флаг и всё внезапно успокоилось. Посреди дороги стоял невозмутимый и, конечно, рыжий полисмен в шортах цвета хаки, в старомодной каске лондонских «бобби» и ноншалантно еще раз проверял документы.

Когда-то, направляясь в Америку, я проезжал гибралтарский пролив и видел неприступную скалу с моря. Теперь увидел я Гибралтар со стороны материка, — впечатление не такое сильное. Главная улица запружена шумной толпой, торговцами, туристами. Посреди медленно пробираются джипы с английскими моряками. Всё сразу меняется: темп жизни, внешний вид улицы, цены в витринах магазинов. Всё, конечно, обозначено в фунтах, шиллингах и пенсах, но торговцы с удовольствием принимают доллары и пезеты. Бутылка виски стоит в два раза дешевле, чем в Англии, американские папиросы дешевле, чем в Нью Иорке, французские духи дешевле, чем в Париже.

Это — одна из тайн системы «преимущественных тарифов» и «порто франко», в которых простые смертные не разбираются. На улицах — теснота и толчея константинопольской Галаты. В Гибралтаре двадцать шесть тысяч жителей, не считая гарнизона, туристов и тринадцати тысяч испанцев, ежедневно переходящих границу. Работают они на английской территории, а к ночи возвращаются домой, в испанскую Линеа. Англичан видно сравнительно мало. Они либо в казармах, либо в своих конторах. В боковых улочках говорят только по-испански или по-итальянски. Это всё генуэзцы, с давних времен живущие в Гибралтаре. Есть индусы, негры, китайцы и немало марокканских евреев. Улицы — лестницы уходят в гору. Вид у них средневековый, дома испанского типа, но нет ни белых фасадов, ни цветов, ни патио. Чув-

ствуется большая бедность и даже морской ветер не может разогнать вековых тухлых запахов, густо приправленных перегаром оливкового масла.

Старики торгуют с лотков рыбой из Кадикса, фруктами, связками красного лука, желтыми дынями, чесноком, помидорами, всякой южной снедью и сиплыми голосами громко расхваливают свои товары. В полуподвальных помещениях устроены «бодегас», стены которых уставлены бочками с вином. Здесь можно за грош получить стакан испанской манзаниллы или бутылку тепловатого английского пива, — нет ничего на свете противнее теплого пива, когда термометр на улице показывает девяносто градусов.

Времени у нас было мало и пришлось отказаться от посещения крепости. Мы даже не были в парке, где живут обезьяны. Легенда утверждает, что обезьяны эти пробираются в Гибралтар из марокканского Тетуана им одним известными подземными ходами, существующими под проливом. Другая легенда общеизвестна: пока на Гибралтаре не переведутся обезьяны, скала будет принадлежать Великобритании.

Во время войны число обезьян начало сокращаться, и Черчиль отдал тайный приказ: привезти в Гибралтар и выпустить на волю побольше обезьян, — это было, вероятно, частью британской военной стратегии. В местном историческом музее имеется рельефная карта Гибралтара и на скале обозначены места, где ютятся обезьяны, при чем именуются они на карте, как британские чиновники: «Обезьяны Ее Величества», — почти государственная служба.

Гибралтар, захваченный Англией двести пятьдесят лет назад, в 1704 году, к великому негодованию испанцев — всё еще британская колония и не собирается менять свой статус... Замечательно, что местные, коренные жители одинаково недолюбливают и Англию и Испанию, считая себя людьми особой породы — гибралтарцами. Стратегическое значение Гибралтара в век атомных ракет, конечно, утрачено, это теперь просто символ. Но крепость постоянно находится в состоянии боевой готовности.

В. Д. Боткин, посетивший Гибралтар в середине прошлого века рассказывал в своих «Письмах об Испании» («Современник» 1857 г.), что видел там две пушки невиданной силы: выстрелом из такого орудия можно убить до ста человек... Думаю, нынешние орудия Гибралтара не хуже. Все батареи скрыты в скале, которая внутри изрезана бесчисленными туннелями и подземельями, как гигантские соты. Тут можно выдержать любую осаду.

В подземных казематах есть свои склады военного снаряжения, продовольствия, резервуары воды, и электрическая станция. Натуральные источники питьевой воды в Гибралтаре отсутствуют. Дождевая вода стекает по зацементированным склонам скалы в подземные резервуары.

Гибралтар один из Геркулесовых столбов античного мира — Кальпе. Второй столб Абилла, расположен на африканском берегу у Сеуты. Из Гибралтара или соседнего Тарифа всего два часа езды на парохо-

дике до африканского берега, который отлично виден в хорошую погоду, также как и горы Рифа.

Вид со скалы открывается необыкновенный: впереди Африка, по правую руку Атлантический океан, по левую — Средиземное море. При выезде из Гибралтара наш автокар сворачивает налево и выезжает на дорогу, ведущую к Малаге и к Гранаде.

*

Первую сотню километров мы едем вдоль побережья Коста дель Соль. Это одно из самых красивых мест на Средиземном море. Только в Сицилии такой хрустальный и легкий воздух и такая же прозрачная вода, как на этом Солнечном Побережьи. Дорога всё время извивается, огибает крошечные бухты и чем-то напоминает «Корниш» на французской Ривьере. Только там всё застроено, всюду дачи и отели, а здесь можно проехать десяток километров и не увидеть никакого признака человеческого жилья. Отроги Сиерры Невады подходят к самому берегу. Пинии спускаются к воде, всюду заросли олеандров, кактусы, а с другой стороны дороги желтый песок пляжа, на который лениво набегает волна. Редко попадается рыбачья деревушка, несколько домов, прилипших к склону горы, а на пляже — перевернутые лодки и красноватые сети, просыхающие на кольях.

Сюда еще не добрались предприниматели, земельные спекулянты, строители, которые уже завладели другим испанским поребежьем — Коста Брава. Продлится это недолго. Уже сейчас десятки тысяч

туристов бегут в Испанию с французской и итальянской Ривьеры. Скоро начнется скупка земель, планирование. Бульдозеры вырвут с корнями темные пинии и пробковые деревья. Чем ближе к Малаге, тем больше признаков предстоящего «расцвета» Коста дель Соль. На скалах, над взморьем, виллы богатых людей и роскошные отели с террасами, купальными бассейнами флоридского типа.

После войны в Испании появились отели, о которых раньше никто здесь не смел и мечтать. Всё это явно рассчитано на самую избалованную клиентуру. Пройдет несколько лет, и южное побережье Испании превратится во Флориду Европы. Да и то сказать — в Малаге триста солнечных дней в году, средняя температура зимой около пятидесяти градусов Фаренгейта, природа африканская, и всё это в двух-трех часах полета от Лондона и Парижа!

*

Малагу не даром называют «Ла Белла». Она лежит красивым полукругом на берегу лазурного и совершенно зеркального залива. В порту большое оживление, грохочут лебедки, грузятся большие океанские пароходы, снуют катера. Так было всегда. Этот порт был воротами Испании в далекие, заморские страны. Во времена владычества арабов Малага играла ту же роль, что Венеция. Суда приходили не только со всех концов Средиземного моря, но из Индии и из Цейлона. И теперь в порту люди в засаленных тельниках, с татуировками на груди, говорят на всех языках мира.

Что я видел в Малаге?

Ничего. Я устал от музеев и соборов. Да, в Малаге есть статуя Богородицы, которую Фердинанд и Изабелла всюду возили за собой, сражаясь с неверными. Есть музей, есть развалины крепости на горе. Бог с ними, довольно! Хотелось просто бродить по тенистым улицам, поглядеть, как живут в Малаге люди.

У фонтана на площади я сфотографировал группу детей, поочередно припадавших к крану, — жажда их была воистину неутолима. Здесь ждала меня нечаянная радость: какой-то старик сидел под акациями, с корзиной у ног, а в корзине были жареные семечки. Именно не подсолнухи, как следовало бы написать, а семечки моего детства.

Но не это главное: старик отсыпал мерку деревянным стаканчиком, точно так, как делали у нас в Феодосии, в скверике Айвазовского. Только у нас стаканчик («с поверхом!») стоил копейку, а в Малаге — пезету... Я купил семечек, начал их лузгать и, направляясь к порту, поймал себя на том, что походка моя вдруг стала в развалку, морская, — так мальчишки старались ходить, подражая морякам. И на расстоянии полувека нисколько не разучился я лузгать семечки, — ловко забрасывал их в рот, зубами выбирал зерно, а шелуху выплевывал. Тут я, кажется, немного сдал: в молодости шелуха отлетала гораздо дальше... Целый день бродил я в порту и видел «Пискатерию», — кабачек на пляже, где жарили свежую рыбу. Прямо на песке разложен был костер,

а немного в стороне, воткнутая на палочки, на жару подрумянивалась рыба, — плоская камбала, серебристые сардины, нанизанные на шумпур с луком и томатами, как шашлык. Тут же, на золе, пекли ракушки и крабов.

— «Устед густай?» — желаете попробовать? — спросил меня приветливый хозяин. Ах, как вкусно всё это было, и как приятно запить рыбу стаканом белого вина, из сорокаведерной бочки!

С вином у меня в Малаге вышло маленькое недоразумение. Вечером в ресторане мэтр д'отель подал карточку и я, с видом стреляной птицы, сказал:

— Дайте бутылку местного вина.

— Сеньор, — ответил он по-английски. — В Малаге нет местного вина.

Наступило неловкое молчание. Всю жизнь я пил малагу, а теперь мне заявляют, что такого вина нет.

— У нас есть сладкая малага, — понял мэтр д'отель мое замешательство. — Ее здесь фабрикуют. Но это — не местное вино. И вы не станете пить малагу за обедом.

Пришлось заказать бутылку «Риохас», испанского варианта бордо. Будучи человеком упрямым и в гастрономических вопросах бескомпромиссным, после обеда я затащил приятелей в бар и здесь нам подали темную, пахучую, сладкую и замечательную малагу, — ту самую, о которой я мечтал со дня приезда в Испанию.

Утром был херес, вечером малага... Чтобы немного освежить головы, во втором часу утра мы вы-

шли на набережную подышать свежим воздухом. Ночь была прохладная, звездная. Кромешная тьма царила на набережной и я не сразу разобрал, что вокруг происходит. На каменном парапете, через каждые пять шагов, в темноте сидели парочки тесно прижавшись друг к другу. Тут вспомнил я, как поэты воспевали красоту малагеньи, женщины из Малаги... Мы были здесь явно лишние и, чтобы не мешать влюбленным, решено было вернуться в отель.

Уходя, я процитировал моим друзьям фразу поэта Луиса Альфонса:

— Воздух Малаги исцеляет всякую болезнь, кроме любви, которая здесь неизлечима.

ГРАНАДА

«Господь создал Гранаду и Альгамбру на тот случай, если Ему надоест небо»
Александр Дюма

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ в Гранаду приехать засветло, но случилось непредвиденное обстоятельство. После двух-трех часов пути мы остановились у придорожного кафе, чтобы размять ноги и выпить «уна сола» — чашечку черного кофе или стакан кока-кола, получившей в Испании все права гражданства.

— Остановка ровно на десять минут, — предупредил гид. — Пожалуйста, не расходитесь, а то опоздаем.

В кафе публика собралась перед телевизором. Из Сан Себастьяно передавали большой бой быков, на котором присутствовал сам Франко. В Севилье я наотрез отказался идти на корриду, но от зрелища на экране некуда было деваться.

Матадор Валенсиа подошел к президентской ложе, снял с головы черную шапочку-монтеру и поднес ее сильно располневшему генералу Франко, посвящая ему быка. Мне сказали, что этот матадор по профессии

известный адвокат и тауромахией занимается, так сказать, из любви к искусству. К чести Валенсии должен признать, что адвокат-матадор убил своего быка с первого же удара. Ловкости его мог бы позавидовать любой мясник на бойне.

Началось великое ликование. Голос спикера прерывался от волнения, на арену летели цветы, шляпы и деньги. Генерал Франко привстал и через адъютанта послал Валенсии его шапочку, в которую вложил приготовленный подарок, — что-то в коробке, с бантом, а сеньора Франко бросила герою красную гвоздику.

После чего на арене появился другой матадор. Он тоже подошел к президентской ложе и тоже посвятил своего быка Франко. Вероятно и для него была заготовлена коробочка с бантом. Я взглянул на часы: автобус стоял уже сорок пять минут, все сроки давно были пропущены, но гид и шофер Мигэль сидели, как зачарованные, не сводя глаз с экрана и даже не прикасаясь к стоявшему перед ними пиву. Любовь к корриде оказалась сильнее всех расписаний в мире. Прошел добрый час, прежде чем они нехотя поднялись с мест и пошли к автокару, так и не досмотрев до конца кровавое представление.

*

Над Гранадой пылал небывалый закат. Мы поднялись на самую вершину холма, к садам Альгамбры и Хенералифе. Внизу, в легком сизом тумане, тонул город. Загорались огоньки. Странное чувство охватывает человека, впервые приезжающего ночью в незнакомый город.

Что там, внизу, в этих улицах? Что увижу я завтра во дворце Альгамбры, о котором столько читал, и в соборе, где похоронены Фердинанд и Изабелла? И этот старинный русский романс, автора которого я не знаю, и который не дает мне покоя:

Дремлет тихая Гранада!
Месяц на небе стоит...
  Где-то слышно: серенада
  Полунощная звучит.

Слова эти привел в «Русском Вестнике» гр. Е. Салиас в 1874 году, и тогда уже он называл романс «старинным». Но на этот раз мне повезло, — внизу, под горой, действительно слышалась серенада. Кто-то пел, аккомпанируя себе на гитаре.

— Спустимся в город, предложил один из спутников.

Мы двинулись в путь. Сначала шли парком Альгамбры и тут случайно попали на концерт гитаристов, исполнявших классическую испанскую музыку. Публика сидела в темноте, вдоль бассейна. Гитаристам вторил звучный хор ночных сверчков. Потом мы спускались узкими улицами, мощеными грубым булыжником. Шли медленно, без определенной цели, заглядывая в патио домов, где переливались струи фонтанов и сладко пахло розами. И вдруг мы увидели зрелище необыкновенное.

Посреди небольшой площади возвышалось Распятие. Вокруг горели цветные фонарики с красными, желтыми и синими стеклами. Прямо на плитах мосто-

вой стояли на коленях женщины в черных мантильях. Каждая держала зажженную восковую свечу. Помолившись, женщина втыкала свечу в землю, у подножья Распятия. Ночь была тихая, безветренная. Свечи горели ярко.

Было в этом что-то испанское и очень сильное: ночь, старое Распятие, неизвестно по какому поводу воздвигнутое столетия назад, жаркое пламя свечей и наивные разноцветные фонарики вокруг, — смесь фиэсты и средневековой религиозной мистерии. В этот вечер мы собирались посмотреть пляски гитан. Но, почему-то, не сговариваясь, повернули и пошли медленно назад, в гору, к своему отелю.

*

Гранада была последней столицей мавров в Испании. Давно уже армии конквистадоров овладели Толедо и Кордовой. Уже завоевана была Севилья, а султаны Гранады продолжали свою беспечную, ленивую жизнь, нисколько не заботясь о грозящей им гибели. 12 января 1492 года — год открытия Америки, произошло величайшее событие в истории Испании: армия «христианских королей» разбила мавров и вошла в город.

Фердинанд и Изабелла вместе со своими рыцарями, воинами и монахами, преклонили колена на берегу реки Дарро. Семь столетий арабского владычества в Испании кончились в бою на живописной гранадской равнине, которую в старину русские путешественники справедливо называли «роскошной». Выходя

из Гранады последний султан Боабдил приказал замуровать за собой ворота Альгамбры.

Всё потеряли арабы в Испании, но до сих пор, в пятницу, во время вечернего намаза, вспоминают они в молитве о своей Гранаде, городе фонтанов, о садах Хенералифе и об Альгамбре, с которой связано так много легенд. Эквивалент еврейской молитвы: «Если я забуду тебя, Иерусалим. . .»

Во дворце уже давно нет привидений. Их заменили туристы, которым показывают Двор Львов, окруженный воздушной колоннадой. Вокруг фонтана вьются глубоко-печальные и полустертые арабские надписи:

«Да будет благословен давший повелителю Мохамеду жилище это, по красоте своей — украшение всем жилищам человеческим. Посмотри на воду и посмотри на чашу: невозможно отличить — вода ли стоит неподвижно, или то струится мрамор.

Посмотри, с каким смятением бежит вода — и, однако, всё непрерывно падают новые струи. . . Может быть и всё существующее не более, как этот белый, влажный пар, стоящий над львами».

И правда, трудно представить себе более поэтическое место, чем этот заброшенный дворец, с его мраморными дворами, пустыми гаремами, журчащими фонтанами. Двор мирт, потом «Зала Сестер» с куполом «в половину апельсина», чудесные и прохладные покои, украшенные мозаикой и надписями «Аллах один побеждает».

Альгамбра была подлинным дворцом «Тысяча и одной ночи». В Башне Сокровищ хранились несметные богатства; красивейшие девушки томились в султанских гаремах; лучшие розы Испании цвели в этих садах, а вода в бассейнах была цвета небесной лазури. Только в одном фонтане, в зале Абенсеррахов, на белом мраморе видны красноватые пятна. Я думаю, это ржавчина. Но легенда Альгамбры утверждает, что мрамор впитал в себя человеческую кровь.

Совсем незадолго до падения Гранады султану Абен Осмину донесли, что его любимая одалиска, «прекрасная как майский день», изменяет ему с кем-то из знатной семьи Абенсеррахов. С кем именно — султан не знал. В семье Абенсеррахов было тридцать шесть мужчин. Чтобы не ошибиться, султан пригласил их к себе во дворец, устроил пир, а когда праздник кончился, приказал всех до одного зарезать. Таким образом, ошибиться он не мог: среди тридцати шести обязательно был его соперник. Кровь обезглавленных лилась в фонтан, стоящий посреди зала, и с тех пор на мраморе появились кровавые пятна...

Можно часами бродить по дворцу. Сказочно хороши кружевные украшения из мрамора, воздушные колоннады. Всюду чудесные продолговатые бассейны с водяными лилиями и фонтаны. Снаружи Альгамбра производит впечатление не то крепости, не то тюрьмы; внутри — это рай. Конечно, христианские короли, которым была чужда эта восточная роскошь и нега, пытались построить что-то свое. В конце концов, лучшее уничтожили и ничего толком не постро-

или. Дворец начал разрушаться. В начале прошлого столетия путешественники, посещавшие Гранаду, видели вместо Альгамбры какие-то развалины, в которых ютились городские нищие и цыгане. Сады превратились в джунгли, розы одичали, бассейны высохли.

Писатель Д. Мордовцев побывал в Гранаде в 1884 году и писал в «Вестнике Европы» об Альгамбре: «Грустно смотреть на эти обрушивающиеся стены, на эти ветшающие и осыпающиеся башни». Теперь всё более или менее восстановлено, — в особенности сады, красивее которых я не видел нигде в Испании.

*

В день освобождения Гранады от мавров, Фердинанд и Изабелла дали обет: разрушить мечеть и выстроить на ее месте собор, в котором они будут похоронены. Мечеть снесли, собор выстроили, и у алтаря, когда наступило время, похоронили «католических королей».

Над главным алтарем — Богоматерь «Ностра Сеньора дель Популо» — «Народная». Ее «поднимают» раз в год, в день взятия Гранады. У ног Богородицы сооружены два мавзолея из мрамора Сиерры Морены. На одном изображен на смертном одре Фердинанд, в доспехах, с мечем и короной на голове. А на другой — мраморная статуя Изабеллы. Эти два надгробия — только мавзолей, а склеп находится внизу, под алтарем, и туда можно войти.

В двух центральных гробах Фердинанд и Изабелла, а рядом с ними похоронены Филипп Красивый и Иоанна Безумная. Карлос Пятый считал, что собор слишком мал для таких великих покойников. Но оказалось, что даже мертвым королям много места не нужно: Фердинанд и Изабелла лежат в столь узких и малых по размерам свинцовых гробах, что посетителям склепа становится не по себе, и они торопятся подняться наверх, на свежий воздух.

*

С балкона моей комнаты в отеле видна Сакромонте, Святая Гора, названная так потому, что в ее пещерах укрывались христиане и там нашли мощи святого Сецилио, покровителя города. И в наше время вся гора изрыта пещерами, в которых живут четыре тысячи гранадских цыган.

В каждом городе Андалузии есть свой цыганский квартал. Севильские гитаны царят в предместьи Трианы; гранадские — на Сакромонте. Вероятно, они давно могли найти себе другие жилища, но даже разбогатев цыгане не уходят с родного места и никогда не оставляют свои пещеры. Эти пещеры «куэвас» — одна из достопримечательностей Гранады. Я провел много часов, бродя по улицам, среди пестрой толпы. Женщины Сакромонте все одеты в яркие платья, облегающие тела и подчеркивающие округлости груди и бедер. Молодые зарабатывают на жизнь танцами. Старухи поют фламенко, нищенствуют, продают туристам кастаньеты.

Одна такая старуха твердо решила, что без ка-

станьет из Гранады я не уеду. Она шла за мной по пятам и кастаньеты в ее руках переливались нежной трелью. Должно быть, старуха обладала даром ясновидящей. Откуда иначе могла она знать, что я в это время думал о стихах Максимилиана Волошина:

...Я привез тебе в подарок
Пару звонких кастаньет.

Конечно, пришлось капитулировать. Но кастаньеты, ставшие моей собственностью, внезапно потеряли все свои музыкальные способности и превратились в простые деревяшки, которые никак не держались на моих растопыренных пальцах.

Пытался я сделать несколько фотографий. Тотчас меня окружила толпа цыганок и цыганят с протянутыми руками. Даром позировать они не хотели. Я роздал всю мелочь, еле от них отбился, но одна долго еще требовала особой платы за снимок.

Приехали мы на Сакромонте целой группой, в сопровождении местного гида, — так считалось безопаснее. Нам должны были показать «куэвас» и танцы гитан. Ждал я увидеть нечто ужасное — трудно представить в наше время людей, живущих, как троглодиты. Граф Е. А. Салиас побывал в этих пещерах в 1874 году и вот описание, которое он оставил:

«Внутренность этих вырытых ям ужасна. Целое семейство из стариков, молодок и кучи детей, всего человек восемь-десять, часто и более, живет всю жизнь в темном подземелье, сделанном собственными

руками, шириною шагов в десять, вышиною в сажень. Единственное отверстие служит и дверью и окном. Разумеется, большая часть года проводится у порога этого погреба, не похожего даже на обитаемое место».

За три четверти века, прошедшие со времени этой записи, пещеры сильно изменились. Правда, и теперь еще в каждой пещере живут семьи в 8-10 человек. Правда и то, что единственное отверстие служит одновременно дверью, и окном, и что большую часть времени они проводят на солнечной улице. Но войдите внутрь. Стены белоснежные, выкрашены известью и увешаны медной посудой, изображениями Богородицы, а рядом с Ней висит портрет отца семейства с лихо закрученными усами. На полу — мягкие марокканские ковры. Вдоль стен дубовые скамьи, на которых рассаживаются посетители, желающие поглядеть на танцы. Это, так сказать, гостиная. К моему удивлению, за первой комнатой идет вторая и третья. Пещеры освещены электричеством, а в одной из них я увидел телефон. Вот так троглодиты!

Сопровождавший нас испанец-переводчик сказал, что есть семьи богатые, у некоторых в пещерах устроены даже ванные комнаты, но независимо от своего богатства, они никуда с этой горы не уходят, — здесь живут и здесь умирают. Пока он рассказывал, комната наполнилась посетителями. Все заняли места на скамьях, а напротив нас сели гитаны, десяток молодых и старых женщин и два гитариста. Гитаны расправили яркие красные, синие и зеленые юбки в белую

крупную горошину и поправили высокие гребни в волосах. Старик цыган начал тихо, нерешительно перебирать на гитаре струны. Потом вдруг отчаянным голосом запел свое «канто» — пел он о несчастной любви и несчастной жизни. В голосе была тоска, и нежность, и стоны.

— Каталина! — спокойно приказала старая цыганка. — Начинай!

Каталина поднялась с места. Очень она была хороша: чудесная фигура, гибкая талия, лицо смуглянки-морены и длинные, черные как уголь глаза, прикрытые опущенными ресницами. Она стояла посреди комнаты, словно задумавшись о чем-то, опустив голову. Потом сделала еле заметное ленивое движение рукой, — медленно вступила она в танец. А гитары уже начали плясовой ритм и выкрики подбадривали и вызывали цыганку, всё еще находившуюся в каком-то оцепенении. И вдруг Каталина перегнула стан, откинулась назад, глаза ее сверкнули, каблучки загрохотали на каменном полу. И в такт этому грохоту в руках цыганок заговорили кастаньеты.

Бывал я в Испании в нескольких ночных клубах, где танцуют «фламенко», видел разных танцовщиц и хотя знал, что и в этом подвале всё не настоящее, придуманное для туристов, — всё же мне показалось, что таких певучих кастаньет я не слышал и не видел еще такой красивой гитаны. Дрожь шла по всему ее телу. Подняв руки над головой она звонко забила в ладоши и пошла кругом, откинув стан назад, извиваясь в невидимых объятиях возлюбленного, сопротивляясь

ему, выскальзывая из его жадных рук. Временами она в гневе надвигалась на него, временами в бессилии отбрасывала всё свое тело назад, склоняясь чуть не до земли под его страстными поцелуями. Волосы ее растрепались и наполовину закрыли пылавшее лицо. Мне трудно описать танец Каталины. В нем не было грациозных балетных движений, — это была дикая страсть. Танцовщица не отрывалась от земли — ее сила как бы удваивалась от контакта с каменным полом, по которому с грохотом она теперь преследовала покоренного любовника.

Вдруг четыре другие гитаны сорвались со своих мест и присоединились к подруге в быстром танце, в резких и внезапных переходах от нежности к угрозе, от смущенных взглядов к дерзким. А кастаньеты манили, завлекали... Гитаристы опять что-то запели, и старухи цыганки с каменными и равнодушными лицами били в ладоши всё громче и громче. Каталина сделала резкий поворот на каблуках, остановилась как вкопанная, одним движением головы откинула назад волосы с лица и, прямая и внезапно строгая, опустилась на скамью.

Я взглянул на туристов и едва не ахнул от изумления: с нами сидели две католические монахини в своих белых накрахмаленных наколках! Нет, не случайно попали они в эту цыганскую пещеру, — с монахинями пришел целый выводок девочек-сироток, которых они привели сюда развлечься. Испанская кровь текла в жилах матушек, ибо когда начался следующий танец, вместе со всеми они забили в ладоши

и начали что-то выкрикивать. Какое это было прелестное зрелище, и где еще на свете, кроме Гранады, можно увидеть в цыганском погребе веселящихся монахинь!

Долго я вспоминал этот эпизод путешествия по Андалузии. Думал я о нем в автокаре, который на следующее утро увозил нас в сторону Мадрида, и сейчас еще улыбаюсь, вспоминая эту сцену... Путь до Мадрида был долгий, — через каменистый Ла Манч и старую Кастилию, и я вспомнил многое, о чем не успел здесь рассказать: о мрачном монастыре-замке «Эскуриале» кровожадного палача Филиппа Второго и об усыпальнице испанских королей, о Долине Павших, где Франко выстроил в скале гигантский подземный собор, в крипте которого покоятся жертвы гражданской войны. Мирно и братски улеглись под землей, все вместе, и республиканцы, и лоялисты... Будет ли когда нибудь и у нас в России воздвигнут такой памятник всем жертвам гражданской войны, и красным и белым?

Мы ехали к Северу, Андалузия кончалась, может быть навсегда и, чтобы подавить в душе грусть, я начал песенку, которую распевали после окончания испанской гражданской войны в России:

Прощайте родные!
Прощайте, семья!
Гранада, Гранада,
Гранада моя!

Так, под эту несложную песенку, простился я с «моей» Гранадой и со всей Испанией.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАССКАЗЫ

ПОД НЕБОМ ИСПАНИИ

PRINTED IN THE U.S.A.
RAUSEN BROS.
142 East 32nd Street
New York 16, N. Y.
149

Цена $4.—

ИЗДАНИЕ
«НОВОГО РУССКОГО СЛОВА»
243 WEST 56th STREET
New York 19, N. Y.